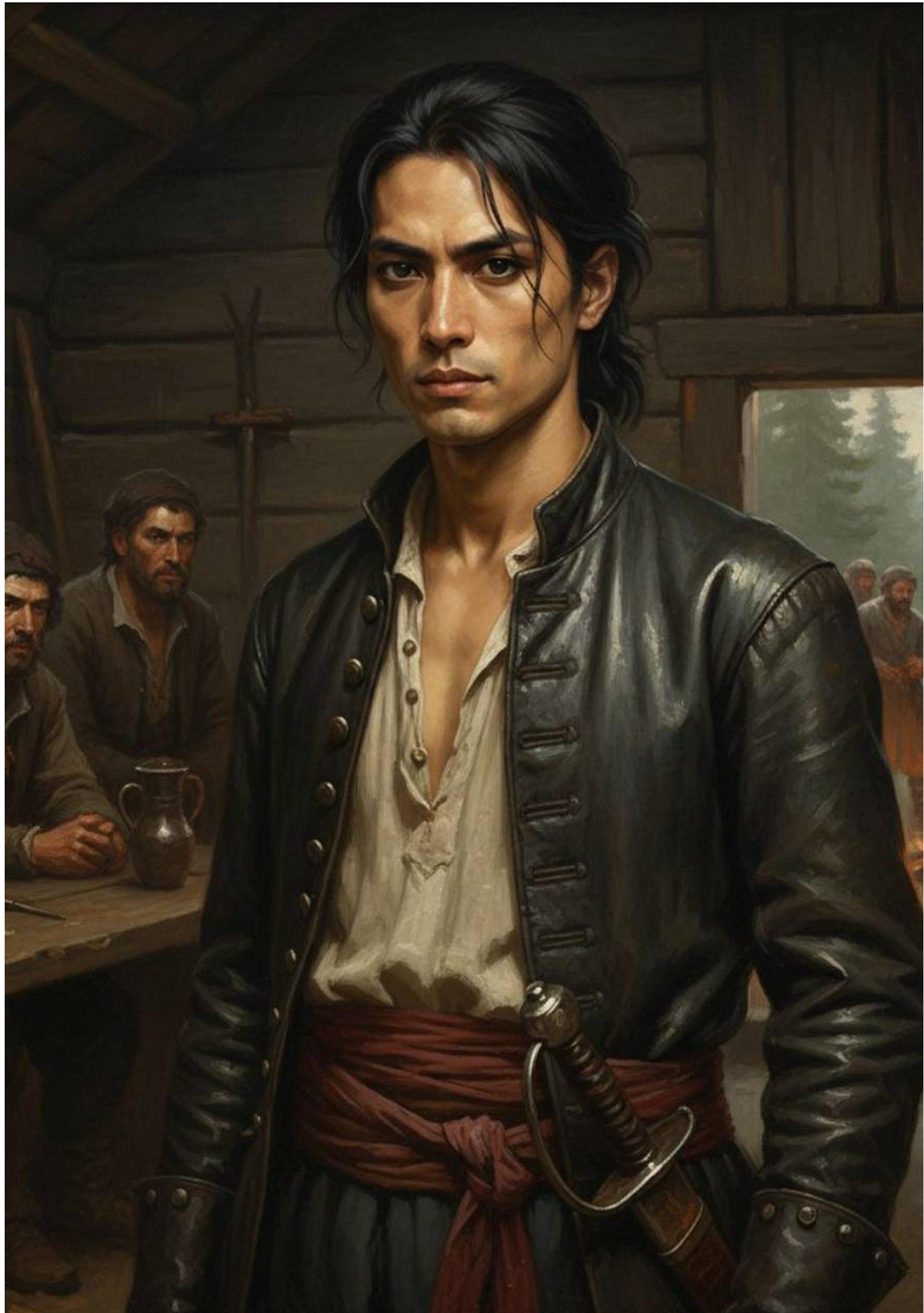




Татяна Текутьева

АТАМАН

«Автор»

2026

Текутьева Т.

АТАМАН / Т. Текутьева — «Автор», 2026

«Атаман» — роман о том, как эпоха ломает человека и как он всё равно пытается остаться верным себе. Андрей, прозванный Окаянным, не искал пути разбойничьего атамана — но времена Смуты не оставляют права на тихий угол. Рядом — брат Кирка, любимая Алёна, товарищи, ставшие семьёй. Он готов биться за них до последнего, но мир вокруг безжалостен: проливные дожди запирают в лагере, болото грозит гибелью, а доверие оборачивается предательством. Налёт стрельцов рушит все планы, и Андрей оказывается перед страшным выбором — спасти близких или спасти себя. Финал лишён ложного утешения: он честно показывает, как история ломает судьбы, не разбирая правых и виноватых. Но сквозь боль и утраты проступает главное — сила родственной связи и верность слову, которые остаются даже тогда, когда всё остальное сгорает в огне. Для тех, кто ценит глубокую психологическую прозу и правдивый взгляд на Смутное время.

© Текутьева Т., 2026

© Автор, 2026

Татьяна Текутьева

АТАМАН

Атаман.

Пролог.

- Это ты! Ты шарить по нашим схранам! Ты, более некому! Потому как тебе закон не писан! Все! Все его блюдут, а ты – гляньте-ка на него! – на вроде как ца-а-арь, али воевода, даром что атаманишка безусый, а творишь чё хошь! Чё, не так что ли говорю, а?! Ватажники, верно ли?!

Говоривший смачно сплюнул, подбоченился и оглянулся вокруг, махнув рыжей вихрастой башкой. Ватажники заворочились, запахнулись в кафтаны, надвинули шапки на лбы, закричали, но промолчали, лишь кто-то во втором кругу одобрительно пробурчал:

- А чё, правду баит... вона как добычу-то делит, себя не обидит...

Кто-то хмыкнул, соглашаясь. И не один. Общая тишина лишь подтверждала повисшее обвинение.

А обвинение-то было страшное.

Рыжий, почуяв поддержку, враз вскинулся на голос.

- Во-о-о! А я об чем? Об том же! Закон ему не писан! Общий закон! Зарвался наш атаманишка! В прошлый-то раз себе ажно полный кошель серебра взял, и соболю шубу, и жемчуга пригоршни две, не мене. А нам так, кость бросил, как псам! Чтоб обглодали и не тявкали! А потом и ту отбирает, втихую, по схранам рыщет! Кто как не он, а, ватажники? – голос его взвился, сорвавшись в тонкий неприятный визг, что так не вязалось с общим обликом обвинителя, и с позой его лихой и наглой.

- Ты чёй-то осмелел – врешь как сивый мерин, жердява стоеросова! Смотрю, длинный вырос, а ума не вынес! Дурак ты и поддакивают тебе дураки! На хрена мне ваши схраны, межеумок, коли у меня своей добычи кусок жирный?

Это наконец ответил рыжему парню атаман, до того стоявший напротив, небрежно опираясь об дерево и насмешливо усмехаясь. Кто-то в кругу хихикнул, ибо рыжий действительно был тощ и длинен как жердь, и умишком... да, короток. Зато кулаками махать горазд. А кликуха у обвинителя такой и была – Рыжий – за вихры его и редкую рыжую тож бородавку.

Тот яростно повел рыбьим глазом в сторону засмеявшегося ватажника, но не отвлекаясь, сделал шаг к атаману, нависнув над ним со всего роста. Атаман был перед ним мелковат.

- Вот именно, что жирный кусок у тебя! - процедил Рыжий сквозь зубы с едва сдерживаемой злобой, - а с какого перепугу, а?! Забыл, кто тебя атаманом поставил? Чем ты нас лучше, а?!

Атаман, ничуть не смутившись, лениво оторвался от своей опоры, поднял голову и воткнул в Рыжего тяжелый сумеречный взгляд. Медленно, чеканя каждое слово, произнес:

- Лучше. Потому как со мной вы добычу имеете, а не в петле болтаетесь. Жрете, пьете, с девками гуляете, а не по острогам сидите и от стрельцов не бегаєте. Потому как я, я думаю о общем деле! А ты, стервец, почем тут смуту поднимаешь?!

Он смотрел на Рыжего в упор, но обращался, разумеется, не только к нему.

- О как... – тихо проговорили в кругу. - То-то мы глядим – атаман наш бражничает цельными днями, а это он, оказывается, думу думает об нас, бедолагах...

Засмеялись, и Рыжий, осевший было от атамановых самоуверенных слов, снова ощутил поддержку и нагло усмехнулся:

- Кончай ласы точить, атаман! Народ правду знает, видит, об чем ты думу думаешь и кто работу всю делает!

- И кто же это? – взгляд атамана будто резал сгустившийся воздух.

- Есаулы твои, кто ж еще!

- Это они тебе сами сказывали? – и хоть голос его по-прежнему был спокоен, все ж Рыжий оглянулся в ожидании привычной поддержки. И встретившись с кем-то взглядом, продолжил:

- А чё говорить-то?! Сами видим, какой ты атаман: тартыга да вор! Я тебе так кажу, атаман, ты уважение круга давно потерял, просто люди молчат, може, бояться норову твоего. Да токмо я тебя не боюсь! Ты мне не указ! Не атаман ты мне, а так – вша мелкая, что поедом ест, а выдавить ее все недосуг! – он снова сплюнул, сам себя раззадорив смелыми речами.

И правда – что ему бояться? Со стороны посмотреть: вот он – высокий, широкоплечий, сильный, молодой-здоровый, а вот тот – супротивник давно втайне ненавистный – атаман – мелкий, худой, вся сила которого в этих яростно горящих окаянных глазищах. Вона, губы поджимает, голову вскидывает, уперся взглядом в ватажников, холодно цедит сквозь зубы:

- И кто исчо так думает?

Молчание.

- Смелые закончились? Один только тьякнул супротив? Псы окаянные, гляжу, только стаей лаять можете!

Заворочились вновь ватажники сермяжные. Друг на дружку глянули, кто глаза опустил, кто в сторону скосил, кое-кто сплюнул в сердцах:

- Чё ругаисси, атаман?! Вещи-то из схронов пропадают! А за добычей с лета не ходим! Сидим тут в лесу, как лешие, а толку никакого! А баили: атаман де Чернолесья хитер да удачлив, с ним де поймаешь удачу за хвост! Чегой-то я ничего не поймал!

- А ты бы поменьше по бабам таскался, Кузьма, да мощной пред ними тряс! Целей казна была бы! - атаман резко повернулся к говорившему. - А то вон борода уж седая, а все беса пониже пояса тешишь!

- Кто бы говорил... – раздался еще голос, и многие согласно кивнули.

- Ага-ага, шубу своя хатын взял, а нама ни-ни, не ходи ни туды, ни сюды! Хатын низя, акча мала-мала, кычкыру да кычкыру... – почесывая редкую бородку, высказал вслух всеобщее недовольство одноглазый татарин Касым.

- Да, и мощну с ефимками, с прошлого раза что, себе взял! На круг не выставил! – раздался еще голос.

Атаман резко повернулся в ту сторону, собираясь ответить, но с другой стороны круга еще один голос — Надыма, уважаемого всеми ватажника — степенно проговорил:

- Что ни говори, а ты, атаман, правила нарушаешь, а с других по всей строгости спрашиваешь. Где справедливость-то?

- Точно! – радостно встрял Рыжий, - значица, он и вор!

- Белебенья ты, Рыжий, врать так! Языком почем зря мелешь! Что б я у своих брал! – атаман повернулся к главному обвинителю.

- Когда это мы тебе своими стали? – зло хохотнул Рыжий. - *Свои* у тебя вона девка твоя разлюбезная да дружок закадычный! А мы тебе наподобие холопов: приказания раздаешь да бранью кормишь!

- И что, все так думают? – тихо спросил атаман, оглядев ватажников.

Молчание повисело как топор над приговоренным.

- Молчите? Согласные с ним? – не дождавшись ответа, атаман опустил сжатые в кулаки руки, тяжело уронил: - Ладно. Коли так... коли недовольство имеете... пусть круг решает, что дальше...

Зашумели, зашпорили ватажники, где тут правда, где навет, вроде как и прав Рыжий по многим статьям, а вроде как вина атаманова не доказана. И тут Васька Малой из новых крикнул:

- Братцы, чё спорим! А пусть сразятся! Чья возьмет, тот и прав!

Никитка Кожедуб, из давнишних ватажников, враз дал ему подзатыльника, но мысля всем неожиданно понравилась. Еще пуще загомонили, обсуждая.

Атаман отошел к дереву, помертвев лицом, отмалчиваясь.

Рыжий не скрывал радости, руки у него будто зачесались, перекидывая туда-сюда уже готовый хлебнуть крови засапожный нож.

Вмешался Федор Никитич, старший есаул, степенно, даже любовно огладив бороду, проговорил:

- Атаман, ватага хочет испытание битвой. Кто победит, на той стороне правда. Такое правило есть, не обессудь. Предлагаю биться на ножах до первой крови.

- Нет, - покачал головой атаман, и голос его зазвенел, - до смерти. И чтоб никто не вмешивался. Ясно?!

Все замолчали, Федор Никитич закричал и проговорил, пряча глаза:

- Ну, уж зачем так... Я так полагаю, до первой крови в самый раз будет... оно ж...

Но атаман прервал его резко и зло:

- До смерти, я сказал!

Рыжий вмешался, довольно усмехаясь и приседая на длинных ногах, готовя себя к битве:

- Да ничё, Никитич, я его поборю, не бойсь! Он, гляди на него, совсем доходяга уже, фуфлыга! И когда это мы его в деле в последний раз видали? Так что, ватажники, готовьте круг! Повеселимся!

Атаман усмехнулся в ответ, скинул кафтан и лениво встал напротив, доставая из-за пояса свой нож.

Ватажники расступились, дав им место. Федор Никитич, вставая между ними, проговорил опасливо:

- Может, передумаете?

- Кончай, Федор, хвостом крутить! – резанул атаман. - Сам же того хочешь, кого обманываешь?!

- Не я хочу, - развел руками тот в ответ, снова отводя глаза, - ватага! Ну, коль другого пути нету, деритесь! – и махнул рукой.

Рыжий шумно фыркнул и тут же выкинул вперед руку с засапожником, целя в грудь атаману.

Тот скользнул в сторону, не спеша, даже будто с ленцой, и нехорошо сощурил ночные глаза:

- Ну, держись, божедурье. Сам напросился.

- Ой-ой, напужал! - осклабился Рыжий. - Как бы самого засветло хоронить не пришлось!

- Никому не вмешиваться! – кинул атаман, обводя ватагу коротким взглядом.

В круге затихли: слово атамана здесь было весомо.

Нетерпеливый Рыжий пошел в натиск, оскалившись ровно пес. Тяжелый его сапог вяз в раскисшей после дождей земле. Движения его были широкими, резкими, грубыми. Он кидался вправо-влево, норовя подловить атамана.

Атаман, напротив, двигался мягко, уходя от ударов, будто играя с ним.

- Чё как девка под мужиком крутишься? Дерись давай! – рывкнул Рыжий.

- Охолонь, Рыжий! – крикнули в толпе. - Он тебя измотать хочет! Ты сильнее, да он вертлявей...

Атаман на это усмехнулся. Внезапно он сделал короткий колющий выпад – ровно чтобы обозначить расстояние, и зацепил Рыжему предплечье – первая кровь пролилась. Рыжий увернулся, встряхнулся и снова пошёл на атамана со всей дури. Но без удачи, тот словно загодя чужал выпад за миг до взмаха.

Толпа, разгоряченная битвой, подначивала то одного, то другого, разделившись на два лагеря.

- Давай, Рыжий, вали его! Хорош его, как девку, обхаживать! Врежь ужо! – кричали одни.
- Дави его, атаман, покажи, кто тут глава! – кричали другие.

Крики распяляли Рыжего. Он вскидывал голову, косил глазом и лыбился, будто скоморох на игрищах. Атаман же дрался молча, сосредоточенно, следил только за противником: отмечая, как тот все чаще хватается ртом воздух, как движения его делаются все шире, тяжелей и медленней.

И когда Рыжий раскрылся - атаман тут же шагнул в прореху, не думая, на одной чуйке. Резко вбил ему плечом под дых, словно дверь выносил. Рыжий пошатнулся, не удержался на скользкой глине и тяжело рухнул на спину. Атаман прыгнул следом, не давая ему перекатиться, навалился сверху, прижимая рукой, и занес нож. Рыжий все ж перехватил удар - клинок с клинком скрежетнули, и ватага замерла. Пахло мокрой землей, железом и смертью.

Кроша зубы, долговязому удалось отвести лезвие, но не до конца: атаман поднажал, и сталь вспорола Рыжему щеку - поперек от брови через глаз. Кровь залила ему пол-лица. Он взревел, что боров на закланье, понимая, что теперь на нем метка. Потому ярость его была сокрушительной. Перевернувшись, он ногой сшиб ненавистного атамана, выбил у того нож и занес свой. Атаман перекатился, и клинок Рыжего вонзился в землю.

Теперь оба остались без ножей.

Сцепились в кулачном бою. Тут верх брал Рыжий: недаром он считался лучшим кулачным бойцом в ватаге. Не раз и не два он отшвыривал атамана к краю круга, и в толпе кое-кто уже шептался: «Куда фуфлыге атаману против Рыжего? Ни силы, ни росту...»

Но атаман всякий раз поднимался и молча, остервенело бросался вперед, норовя вцепиться тому в горло.

Все ж Рыжий и впрямь был сильнее.

Предвкушая победу, уже чуя ее вкус, как она в горло булькает смешком, он в который раз с силой пхнул ногой атамана в бок и заулыбался окровавленной рожей, оглядываясь на ватагу и растягивая удовольствие. И в тот самый миг, когда он красовался, жалящий ножевой удар атамана вошел справа под ребро – коротко, точно, будто змея ужалила.

Рыжий взвыл в голос от боли и досады, отступаясь и зажимая рану.

- Рано радуешься, пес шелудивый... – прохрипел чернявый черт разбитыми губами, поднимаясь.

И снова мелькнул клинок - и полоснул Рыжего по бедру. Целился-то в живот, но мазанул - в молчавшей с некоторых пор толпе Рыжего успели предупредить окриком.

Рыжий упал, взвизгнув, откатился, нашарил на земле свой нож и стиснул рукоять так, что побелели костяшки. Поднялся, пошатываясь. Он вспомнил, что не раз говорили в ватаге: в битве на ножах атаману нет равных. Уверенность его покачнулась, как если б вступил в мочажину. Он уже не смеялся. Но и сдаваться не собирался: ведь только что враг валялся перед ним избитый, почти побежденный.

Да, избитый. Да, чуть не побежденный. Но в глазах атамановых горела темная злая сила, мощная, неумолимая, неотвратимая, упрямая - угроза и приговор всякому, кто встанет поперек.

Кабы был Рыжий поумнее – понял бы.

Стоя друг против друга, они замерли, переводя дух.

- Убью! – прорычал Рыжий, встряхивая затуманенную голову.

Атаман сощурился и резко сделал выпад правой рукой.

Рыжий метнулся вперед, пытаясь перехватить удар, — но всё случилось слишком быстро. Нож, непонятно как оказавшийся в левой руке атамана, молниеносно вошел в живот Рыжего по самую рукоять.

- Межеумок ты, Рыжий! – закричали в толпе. – Говорили ж тебе, что он с двух рук работает!

Рыжий посмотрел на расплывающееся кровавое пятно и поднял на атамана недоумевающие глаза.

- Зря ты связался со мной, я тебя предупреждал! – усмехнулся тот и рывком вынул клинок. Хлынула кровь. Рыжий заорал и как оглашенный кинулся на врага, уже не разбирая – размахивая ножом и слабея при каждом взмахе, но слишком опьяненный злобой, чтобы это почувствовать.

- Мало тебе, гнида? – процедил атаман и скользнул в сторону, толкнув его. Даже усилия не потребовалось.

Рыжий упал в грязь, но снова попытался встать, цепляясь за жижу и хрипя проклятия.

Атаман снова пхнул его и проговорил:

- Признайся, что это ты схроны порушил! Может, пожалею придурашку!

- Это ты! Ты вор! – просипел тот в ответ, скрючиваясь и зажимая рану.

- Тварюга упёртая... – сплюнул атаман и снова пхнул его ногой.

Тот откатился к дымящемуся поодаль кострищу, рукой попав в горячие угли. Заверещал, дёрнув обожженной рукой, но атаман наступил на нее сапогом, и проговорил ровно, чтоб слышали все:

- Признайся, кто подбил тебя на бунт. Скажешь – дам умереть как мужику. А не скажешь – сдохнешь, что визгливая девка!

Завоняло палёным. Рыжий заверещал еще тоньше, жалобней.

- Атаман... – робко произнес кто-то в толпе, но тот вскинулся, не снимая взгляда с Рыжего:

- Кто тут лает?! На его место хочет?

Ватага снова притихла. Никто не шелохнулся.

- А-а-а!.. – кричал Рыжий от боли и злости: понимал, что это конец, пощады не будет и помощь не придет. В последнем мстительном порыве здоровой рукой он потянул атамана к себе и замахнулся ножом, рассекая ему плечо. Но сил на настоящий удар не хватило.

Предел терпения атамана закончился.

- Сдохни ужо, гадина! – с холодной ненавистью проговорил он и с силой всадил клинок в Рыжего.

Кровь брызнула во все стороны, Рыжий дернулся как распластанный и опрокинутый на спину жук и захрипел в предсмертных судорогах.

Атаман ударил еще раз. И еще.

И мертвый Рыжий уже не дергался под этими ударами, лишь брызги крови окатывали атамана с головы до ног, пока кто-то не крикнул:

- Остановись, атаман, охолонь, он ужо мертвый!

Тогда только замер, трясаясь от владевшей им ярости, и медленно выпрямился. Что-то мешало ему ясно видеть – кровь. Кровь была на нем, будто он искупался в ней. Вытер ее локтем с глаз, и страшно тихо произнес, оглядывая ватажников темным, немигающим взглядом:

- Ну, кто исчо хочет сразиться? Есть хоробрые? Выходите в круг! – И, видя, что никто не шевелится, вскрикнул зло, насмехаясь: - Чё, огурялы, боитесь?!

Все молчали, пряча глаза. Атаман переложил нож в другую руку и рванул рубаху вверх, обнажая раны на теле:

- Вот, он достал меня! Ловите случай... Кто хотел побороть меня? Ну, же! Кто?!

Тело было в порезах, но пуще всего покраснел бок, куда Рыжий прикладывался ногой. Кровь сочилась и с руки.

Но снова никто не пошевелился.

Молчание стало топким, что болото. Атаман дико расхохотался:

- Эко, верно говорят: тать не тать, а на ту же стать! Только языками чесать горазды! Прячетесь за спинами подобных межеумков! – Он пхнул ногой мертвое тело Рыжего, чуть поскользнувшись в его крови.

- Атаман, - произнес кто-то, - довольно уж, божий суд все порешил...

- Божий суд?! – Тот снова расхохотался, и это выглядело настолько устрашающе, что многие попятись. - При чем здесь Бог? Это я решил! Я! Тока и суе своего Бога куда ни попадя!

- Атаман... – снова начал кто-то.

- Хватит! – закричал он еще сильнее. - Не атаман я вам более!!! Вы все мне осточертели! Чтобы я был вожаком стада баранов – ну уж нет! Плох я вам, не по закону ватажничаю – и черт с вами! Сказали бы – и так ушел! Так нет, заслали дурня, думали, побьет он меня, ха! Все, окончено! Выбирайте себе нового атамана!

Он повернулся, чтобы уйти, пряча нож в сапог. Сделал шаг, потом остановился и, впол-оборота, уже тише произнес:

- Три дня... я даю вам три дня на выбор нового атамана. Сейчас я уйду из становья, а когда вернусь, надеюсь, вы уже порешаете. И уберите отсюда эту падаль! – Последнее он снова выкрикнул, пнув мертвеца. - Пошарьте по его собственным схранам, может чему удивитесь!

У рукомойника он вылил на себя ведро холодной воды, вытерся рушником, уставился в миг покрасневшую тряпицу, будто только осознав, каков его вид сейчас, посмотрел вдаль, кой-кого отыскивая взглядом.

Там, у стены баньки, стоял его закадычный друг и есаул Кирюшка и смотрел на него полными ужаса глазами, а встретившись с ним взглядом, тотчас опустил голову.

Сердце атаманово, и так гулко и больно бившееся за грудиной, вмиг тяжело ухнуло, вовсе сорвавшись куда-то вниз.

Атаман бросил окровавленный рушник и более ни на кого не глядя ушел в свою избу.

В темноте сеней он почувствовал, как сильно его трясет. Дыхание было сдавлено, словно запертое в железной клетке, и толстые прутья сей клетки сдвигались все тесней и тесней. Было жарко и одновременно холодно. «Вот и всё...»: стучала мысль в голове, «окончено...»

Он никак не мог вздохнуть свободней, глотал воздух мелкими вздохами, но в глотке словно камень встал, а перед глазами плясали искорки - видимо, головой крепко приложился в драке.

Постоял в сенях, собираясь с силами.

Ноги сделались пудовыми, однако ж медлить особо было нельзя - ватага могла очухаться, и неизвестно, что там себе надумать, а сил на новый бой покамест не было.

Так что он прошел в свою горницу, закрыл низкую тяжелую дверь, отрезая себя от всего мира, и снова попытался вздохнуть. Или выдохнуть.

Медленно стянул окровавленную рубаху, кинув ее под лавку. Стянул скользкие сапоги. Нож снова оказался в руке. Повертел его, не зная, куда его к себе, голому, приткнуть. Воткнул с силой в стену. Стоя над сундуком, замер. «Что же, - подумал, - дальше? Ну да, уйти в схран... одеться...». Стянул штаны. Стоя в исподнем, снова застыл, уставившись в стену, из которой торчал нож.

Нож - верный и, видимо, единственный его друг. Вытащил его, холодно прокрутив привычную мысль, что де хорошей работы нож, рукоять удобная, крепкая, в ладони не скользит, и сталь отличная, клинок длинный – то, что надо, каков кузнец ковал – отличный мастер, сколь уж раз выручал, и вот – опять.

Нет, он может об том не думал, а так – цеплялся за обычное, простое, однако ж, как только скрипнула позади дверь, тут же метнул нож в вошедшего.

Никитка, а это он вошел, едва увернулся, и нож зазвенел в притолоке.

- Эй, атаман, свои! – воскликнул вошедший в страхе. - Ох и лих же ты - чуток и прикончил бы...

- Своих нету, не атаман я боле, - ответил атаман медленно, через силу. - Чего тебе?

- Слухай, Андрей, не горячись ты так... Ты верно сказывал, что Рыжего подначили, туточки может два-три у тебя тайных супротивника... Я выведаю, кто... Остальные просто дурни... Чего горячиться-то и уходить сразу?

Атаман посмотрел на него долгим взглядом и тихо произнес:

- Ты думаешь, я не понимаю этого? Кто-то кашу заварил, а я... проглядел... Но раз так пошло... не хочу и разбираться... Все, окончено... иначе... иначе я вовсе... – с мукою сказал, отворачиваясь. - Уйди ты, Никитка, не видишь - и без того тошно, оставь меня...

- Атаман... Андрейка... Я ж говорю, что лучше б... – сделал тот вторую попытку, но атаман закричал, прерывая:

- Да уйди ты, оглашенный! Чё лезешь-то? Без тебя разберусь, чё мне делать! Пришел тут уговаривать, тянуть кота за яйца, делать боле нечего, видать!

И Никитка, помявшись в двери, вышел. В таком состоянии с атаманом говорить было бесполезно.

Однако его приход и слова будто подстегнули атамана. Он резко скинул с себя остатки замаранной кровью одежи, натянул на себя что пришлось чистое, собрал котомку, сунув в нее хлеб с солью, пару луковиц, штоф с медовухой. Ну и ножи, любимое оружие - два засапожных, один поясной. Ну это так. По мелочи. Оглянувшись, уперся взглядом в маленькую темную иконку со Спасом в Красном углу. Подошел к ней и процедил сквозь зубы с ненавистью и болью: «Что уставился? Смотришь... Сторожишь что ли? Следишь? Карать станешь? Ха! А ну-ка, попробуй, схвати меня за руку!»

И резко скинул ее наземь, как раз в тот миг, как в дом вошла старая Марфута.

Та вскрикнула, но он прошел мимо этих ее: «Ох, батюшка! Ох, что же ты делаешь, ока-янный! Богохульник этакий! Он же тебя покарает, грешника!»

«Ничё, - зло подумал в ответ на ее стенанья, - молоньей сию минуту не убило и то ладно!»

Прошел сквозь стан.

Сквозь стену молчания.

Сквозь лес. Еще зеленый, но уже опаленный близким осенним холодом, мокрый после недавних затяжных дождей, опасный в сгущающихся сумерках.

Но оно и к лучшему, что темнеет. Далеко он не пойдет. Здесь в этом лесу у него полно собственных схронов, в некоторых сокрыта его добыча, некоторые для того, чтобы самому прятаться.

И не то, чтобы он сейчас прятался, но да, ему требовалась нора, в которую он наподобие раненого зверя залезет зализывать свою рану. И это не те раны, что от порезов, и не багровые синяки по всему телу, не подбитый затекающий глаз. Все это пустяшные раны. Но... другое, другое, от чего хочется быть волком, проклинать - кого? что? – да всё, и всех!

Он шел в сгустившейся темноте, спотыкаясь об корни да коряги, перелезая через поваленные стволы деревьев, шел, ведомый чутьем, - все же это был его лес, *его*, хоженный-перехоженный!

Но отчего, отчего так корежит внутри?! Так туго и тесно в груди, что ажно дышать тяжело?!

Вот и землянка. В ней даже печурка есть и запас дров на одну-две топки. И ручей подле.

Наконец, он может отдохнуть. Здесь мало кто его найдет. Землянка крохотная и завалена сухостоем, поросла мхом и со стороны кажется корнем поваленного дерева. У него есть три дня, три дня покоя для себя самого, чтобы подумать.

Но сегодня думать он точно не будет, нет, желание иное.

Сначала он спустится к ручью набрать воды, разденется донага прямо там, на топком берегу, дрожа в холоде и темноте, выльет на себя еще ведра два холодной воды, чтобы смыть с тела и волос запах крови, крови убитого им Рыжего, лучшего бойца в его ватаге. В его *бывшей* ватаге.

Потом дрожащими озябшими пальцами растопит печку, хлебнет взятой с собой медовухи, закроется изнутри землянки, завернется в припасенные здесь шкуры и выдохнет. Приглушенно взвояет, позволит, наконец, предательской влаге просочиться сквозь плотно сжатые веки.

Вспомнит. Каждое слово, взгляд, жест. Кто как стоял, смотрел, что и как сказал. Что можно было сделать, кроме того, что было сделано? Можно ли было? Когда он пропустил эту тайную подготовку к смуте? Кто подговорил Рыжего? Кто, кто против него?! И неужто все?

Даже его названный брат, закадычный друг – отвернулся. А как смотрел! С каким отвращением, будто раздавленную, но еще плюющуюся ядом гадюку углядел. Будто впервые видел, как он дерется. Как убивает.

И что здесь такого? Всего лишь делал, что должен...

А этот... гузыня, стоял, отворачивался!

Все они предатели, шаврики, нежити неблагодарные! Обвинили его в нарушении закона. Какого, к черту, закона?! – воровского закона, гляди-ка, тати, а туда же - чертовы законники! И когда таковыми стали?!

Мысли катятся по кругу, внутри тугая жаркая волна распирает грудную клетку, и сердце в ней бьется опаленным, и все время больно, без передышки, всегда, сколько он себя помнит, но сегодня особенно сильно. Так было лишь несколько раз.

И первый раз, когда убили Настасью...

Он выпьет еще медовухи. Согревшись, соскочит с лежанки, распахнет дверь, впуская стылый воздух в спертую темноту землянки, и, подняв кулак к темно-синему небу с высыпавшими на нем колючими звездами, повторит давешнее: «Что – мало Тебе? Сломать хошь? Душу вынимаешь? Не выйдет! Не дамся!»

И стоя на пороге, он не получит ответа, впрочем, как и всегда. Лишь заметит тень крыла охотившейся птицы меж стонущих на ветру темных стволов. Уйдет, уползет обратно в свою нору, где, прикончив хмельное, попытается забыться.

Забыться не выйдет, но вспомниться начало...

И все потому, что тепереча снова в путь-дорогу собираться, снова в никуда... как уж сто раз бывало, и впервые годков семи-восьми отроду...

Часть 1.

Глава 1. Детство.

Родных отца-матери Андрейка никогда не знал. Но позже, возмужав, об чём-то догадывался.

Младенцем несколько месяцев от роду оставили его в одной деревеньке недалеко от Белёва в тульской окраинной земле.

Случилось это чрез три года после того, как в мае крымчаки с ногайцами во главе с калгой Фетой-Гераем набегом разорили тульские, каширские, рязанские, дедиловские и веневские земли и взяли «полону много множество, яко и старые люди не помнят такие войны».

За год до того сам хан Казы Гирей бежал из-под Москвы только пятки сверкали, разбитый в пух и прах. А в этот раз Русь воевала на северных границах с Ливонией, и туда стянула все силы. Да и крымчаки не шли к столице, а пришли за ясаком на южные земли своею манерой – быстрым наскоком, чтобы захватить побольше добычи. Русские полоняне были их нема-

лой статьёй дохода, хорошо продавались на рабовладельческих рынках: мужиков – на галеры, девиц – в гаремы, если красива, иль в услужение османским женам. Правда, москвиты отличались строптивостью и ценились чуть менее полонян из той же Речи Посполитой. И все же.

Как бы то ни было, хоть тот набег Феты-Гирея москвиты отразили и даже частью отбили полонян под Епифанью, все ж урон был немыслимо велик.

Была ли его матушка одной из тех полонянок, какого вообще была рода-племени, как спаслась - выкупили ли, отбили ли, иль стала наложницей какого-нибудь мурзы или бея, - никак не узнать. Но понесся дитё от басурманина, отдала его сразу, как отняла от груди. А ведь не то грех, что ссильничали, и что в полоне была наложницей, и что понесла, - то обычное дело, но видать, не хотела его, не нужен был, обуза, память о плохом, не иначе. Потому – скинула.

Но окрестила. Была при младенце ладонка Андрея Первозванного и крестик деревянный.

Поэтому нарекли его Андрейкой, и усыновили в семье, где и так было семеро по лавкам и хозяйка выкармливала свое дитя. Усыновили с мыслью, что вскоре помрет – был недоношенным – баушка сама об том ему опосля говорила.

Но не помер. Братец молочный помер, а он нет.

Потом ему глаза кололи, что отнял молоко у братца.

И мальцом он не понимал, почему ему всегда достается кусок меньше, чем другим, почему его не приголубят, как других, а как собачонку гонят прочь, и почему он вообще так не похож на остальных: весь выводок братьев-сестер белокрытый, а он чернявый, все светло-глазые, а он один черноглазый, да еще и смугл в придачу. Нет, в детстве он этого не понимал. Даже когда его татарчонком кликали.

Единственно, чего ему все время хотелось, так это есть. Это песня: «Исть, исть, мамка, дай исть!» - была у него главной. А что пихаются, дерутся, на печку греться не пускают, обзывают по-всякому – то неважно.

Он мало что помнил из того детства. Даже названия деревни уже не вспомнил бы. И не узнал бы ни названного отца, ни названной матери. Как их звали и то не помнил. Тятка да мамка.

Вот бабушку помнил. Бабушка-то ему все и рассказывала: и как нашли его, и что забрали, и про крымчаков, и про мир – что знала, тем и делилась. И учила сказкам да приговоркам всяким. Шамкала беззубым ртом, а он повторял за нею:

*«Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь,
Деткам спать не даёшь?»*

«И правда, - думал он, малой, - что дурниной раскукорекался... спать не дает! тятка опять пошлет борову крапивы рвать... лети-ка за реку, петушок!»

Или вот еще:

*«Еду-еду к бабе, к деду,
На лошадке, в красной шапке,
По ровной дорожке,
На одной ножке,
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам,
По ухабам, по ухабам,
По маленьким пенёчкам,
Прямо в яму — бух!»*

Раздавили сорок мух!».

Как засыпал, так и видел эти картинки: будто у него шапка красная, как у боярина, а лошадь такая же - долгогривая, гнедая, бока ее лоснятся, не то, что у их тощей Каурой, и едет он на ней в стольный град на ярманку.

«Ладушки, ладушки!

Где были?

- У бабушки.

- Что вы ели?

- Кашку.

Пили простоквашку.

Простоквашка вкусенька,

Кашка сладенька,

Бабушка добренька!»

И впрямь бабушка добрая была, жалела его что ли.

Вскорости померла, как приключился голод.

Вот так вот, жил себе народ, детей копил, робил спозаранку до вечера, а неожиданно-негаданно беда пришла, да такая, что всем бедам беда.

Что-то около шести ему было, когда это случился. Долго весна не приходила, снега лежали, не стачиваясь аж до зеленого листа на деревьях. Все тепла не было. Но рожь посеяли. И капусту, и морковь, и брюкву. Животы поджимало, но надея была. Тятка сказал: «Надея всегда жива».

Надея, надея! На все у них надея! Да божья воля!

Не-а. Два летних месяца ледяные дожди лили без перерыва, днем и ночью. Потом белая крупа с неба посыпалась, и морозы вдарили по едва созревшим побегам.

Андрейка помнил, хоть мальцом был, как вся деревня голосила - бабы, мужики, как костры жгли ночи напролет, дымом поля да огороды грели.

И снова снег сменился дождями. Сидишь в избе, на улицу не выйти, а выйдешь – сразу ворочаешься, ибо там холодные ручьи хлещут, всю улицу в грязную канаву превратив. И рубашонку натягиваешь пониже, пытаешься согреться, - портков еще не полагалось по малолетству.

Будто помертвели в то лето все. На тятку страшно глядеть, хотелось под лавку спрятаться, раз на печку не влезть – там бабушка лежала помирала, да братья с сестрами грелись. Мамка плакала, по ночам всё под иконами молилась, осеняя себя мелкими дробными крестами.

Осенью помер младший, что в люльке лежал.

И бабушка спустя три дня.

Похоронили тихо. Ни одни они хоронили. Деревенский погост вмиг разросся в ту пору.

Лишь когда гроб с бабушкой заколачивали, закричал-заплакал: «Баушка! Баушка!»

Тятка подзатыльника дал: «Молчи, бисов сын, и без того тошно...»

К осени уехал тятка со старшим сыном в город, вернулся под зиму. Один. Еще более чёрен и сумрачен.

Андрейка помнил, сидя под лавкой, какой разговор тятка вел с своим братом. Ничего не понял, но запомнил.

«Вот де, на Москве указ царский – зерно раздавать... Приехал – а его по двойной, тройной цене загоняют! Цену в стократ взвинтили! Мыслимо ли дело, народишко мрет без счету, а бояре богатеют, наживаются, все об своих мошнях пекутся...»

«Это все нам наказание, брат. Земство посадило худородного царя – вот и расплата! Отвернулся Господь... То ли еще будет...»

«Да куда ж дальше?! Старшего в кабалу продал, зерна жмени две осталось, капуста одна да брюква, как зимовать будем?!»

Вздыхали, кряхтели, чесали бороды. И от напряженного их разговора страшнее было, чем от мамкиных слез.

Все ж как-то перезимовали. Все кадушки, миски, горшки выскребли, по всем сусекам как корова языком слизала, кошку Муську да пса Ваську сожрали, уже кожаные ремни размягчали, ели...

По весне мор начался, от него померла одна из сестренок.

Посеялись чем было. Но ледяные дожди, как в прошлом году, надеи не давали на урожай.

К тому же слегла мамка, но потом вроде отошла. Но была уж не работница.

Что сказать? Да нечего. Вроде даже и не гневается Андрейка, вспоминая, как тем летом, в самом его конце, тятка посадил его на телегу, сунув в ручонки краюху хлеба, замешанного на лебеде, и пару луковиц, и повез прочь от деревни, названия которой он даже не запомнил.

Оказался лишним ртом. Тут бы своих спасти, что остались. А что зима еще голодней будет, - к бабке не ходи.

Нет, не обижался Андрейка. Спасибо и на том, как говорится.

Но этот день врезался ему в память как вчерашний.

Как раз опосля Петрова дня.

На Петров день и кукушка подавится ватрушкой – вспомнилось.

Было солнечно. В руках у него была не ватрушка, а краюха ржаного черствого хлеба, целое сокровище! Он ехал с тяткой, и пусть тот угрюмо молчит, лишь зло понукает их выжившую в мор Каурю, и не отвечает, куда они едут, они все равно вместе.

- Тятя, а мы куда поедим? На ярманку, да? А там что? Скоморохи, да? Тятя, а тятя, а там исть дадут? И пирожок дадут? – помнится, щебетал он что птенец.

Но тятка резко оборвал:

- Голод ни тетка, Андрейка, пирожка не подсунет. Молчи ужо, малой, не мешайся. - Как плетью огрел.

А кругом расстилались поля, поля, бесконечные поля да луга, то золотые, то зеленые, то хилая рожь, то разнотравье... И бойкий ветерок гнал волну, а метелки трав вздрагивали, гнулись, ложились, куда он укажет, и светились на солнце, словно драгоценность... Верещали цикады. Дорога все вилась, вилась, и пыль над ней висела покровом... А небо было, что глаза у покойной бабушки – выцветшее, как полевой цветок...

И он успел заснуть со сладкой мыслью о ярманке.

И проснулся, когда тятка разбудил.

Ссадил с телеги и велел идти по дороге вперед:

- Иди, Андрейка, там тебе и ярманка, и скоморохи на ярманке, может и пирожка дадут добрые люди...

Он и пошел. Потом огляделся, а тятка уж лошадь повернул. Шаг к нему сделал и два, не понимая, почему тот уезжает. А тот не оглядываясь, хлестнул кнутом Каурю:

- Пошла, треклятая! Но-о-о!

Побежал за ним:

- Тятя! Тятя! Куда же ты! А я?! Возьми меня с собой!

И бежал, пока не упал в песок. Куда там! Телеги и след пропал.

А тут гром громыхнул. Ветер поднялся. Полнеба тучами заволокло, молонья чиркнула. А молоньей его с малолетства пугали. Закричал, вскочил, снова побежал, но куда бежать, в какую сторону? Испугался он страшно, залез в овраг, от страха даже плакать перестал, свернулся клубком, одна мысль свербила: «Вернись, тятя, я буду послушным, я не буду исть просить, и по хозяйству буду помогать... все, что хошь сделаю, токмо прости меня...» Не заметил, как заснул, а может, в беспамятство впал.

Пришел в себя, солнце уже выглянуло, небо, дождем умытое, нежно розовело вечерней зорькой. И почему-то он ясно понял: нет, тятка не вернется, и не потому, что он неслух, нет.

Его отправили прочь, навсегда, и все потому, что не любили его, чужой он им был, сирота приبلудная, татарчонок чернявый, чужая кровь. Все слова, которые он слышал про себя в прошлые годы на место встали. И ничего ему не оставалось, как пойти по дороге вперед.

Шел долго. Ночевал в стогу. Там приятно пахло сеном и было тепло. Но хотелось есть. И пить. И утром он снова шел, спасибо – погода стояла ясная, и встретил по дороге убогих христорадников, которые дали напиться воды и в придачу кислых зеленых яблок, которые показались манной небесной.

Снова ночевал в стогу, и днем снова шел.

Ближе к вечеру пришел в большое село. Не то, что их деревня, раза в два больше. И церковь в селе была, Николая Угодника, и дворы побольше, а народу мало, на покосе все. Только старики да дети. Пришел к колодцу, напился воды из черпака, сел подле деревянного теплого колодезного бока и долго сидел, пока за водой одна молодка не пришла. Она и крик подняла – что де за приبلудный чужой ребялёнок у колодца сидит? Тогда-то они все и заметили его.

Дальше он хуже помнил. Видать, притомился сильно, два дня не жрамши. Судили они, рядили, что с ним делать, куда девать, все тормошили:

- Чей ты, малец? Где твои мамка-тятька? Откуда ты?

- Ниоткуда, - отвечал, и то потому, что очень уж приставали, - ничейный я, сиротина треклятая, чужая кровь, татарская рожа, чертяка лесной, сажей мазаный, чёртом меченый...

Смеялись.

- А имя-то у тебя есть, чертяка?

- Ага, - засыпал уже на ходу, - Андрейкой-подкидышем кличут...

Проснулся в избе. На полатах. Травами сухими пахнет, как в стогу. Молоко в кувшине и хлеба кусок на столе. Сполз с полатей, смотрел на кувшин, слюни глотая, думал: «Если выпью и убегу, далеко ли убегу? А что будет, как поймают? Высекут? Или в хлев к свиньям отправят?» Тут она заходит, Настасья...

Это доброе воспоминание. Но горькое. Потому что Настасья страсть какая хорошая была и истинно матерью ему стала. Она будто в душу ему смотрела. Вдовая. Бездетная, к сироте сердцем прильнула. Так они нашли друг друга. С того самого мига, как она вошла, улыбнулась и тепло сказала: «Ну что же ты встал? Пей, ешь давай, для тебя всё приготовлено!»

И потом на него столько всего хорошего свалилось! Такие счастливые воспоминания его детства. К вечеру мамка Настасья отмыла его в печке, и выдала новую нехитрую одежду, даже порты - как взрослому, и лапти. И кашей накормила.

На следующее утро миска щей. Еда, одёжка, место на печке – что еще нужно?

Потом Настасья взяла его за руку и повела по селу знакомиться – аккуратно на воскресный день. Колокол на деревянной звоннице звонил: праздник - Казанская. В церковь зашли, потолкались, а ему боязно – стока нового народу, все чужие! Прятался за ее юбками... смешно сейчас вспоминать. И шепнула тогда Настасья: «Вот как к Матрене пришла Богородица и на икону как дар свой указала, так и ты мне, дитя, как утешение и дар Божий послан!»

Чудно такое было слышать для того, кого пинали все, кому не лень.

М-да, вот такая жизнь у него в Никольском началась.

Первый год сидел Андрейка тиши воды, ниже травы – обвыкался. И все страх у него был, что прогонят, вдруг чего натворит и опять – в телегу и в поле как ненужную ветошь.

Да и голод никуда не делся, неурожая еще два лета переживали всем селом, всю Русью-матушкой, волком выли от бесхлебья.

А как пережили – в толк взять нельзя. Как-то. Лебеду замешивали в хлеб, лесной подкормкой питались, кору с деревьев срезали, собак всех поели. Да спасло, что на работы подвизались в близлежащем богатом монастыре, обласканному прежним царем Иоанном.

Было еще кое-что.

Слыла его мамка теперешняя шептуньей-ведуньей, знахарничала по чуток, травы лечебные знала. Да и погадать втихую могла. В благодарность бабы никольские нет-нет да что-то принесут ей в подоле – яики там, огурцов пяток, а то и маслица плошку или ржицы жмень – все на поддержание штанов, как Настасья говаривала!

Выжили.

Да и чудные дела начали на Руси твориться, будто летних снегов мало было.

Мужики-то никольские прослыли, будто собрались беглые холопы большим отрядом, мол их атаман Хлопка Косолап ведет, грабить бояр, прям удача ентому Хлопку. Ну и кой-то сбег в его ватагу, чем тут с голоду пухнуть. Где наша не пропадала: пусть спина и бита будет, хоть пирог съеден!

Но через год разбойника Хлопка таки заграбастали со товарищи да на Лобном месте в Москве казнили жестокою казнью. Многие, впрочем, с его ватаги, бежали.

Из ушедших мужиков в Никольское лишь один вернулся, зато с сапогами и с лошадыю. И староста глаза на то закрыл – вернулся же.

Все это будоражило. Бередило Андрейке кровь. Страсть как интересно!

Еще интереснее мужиков послушать.

Как соберутся они у общинного старосты в избе, тут как тут Андрейка и прочая ребятня уши греть: об чём говорят.

Да всем об том же. Что подати непосильны: пищальные деньги – заплати, стрелецкую подать – заплати, полоняничные, городовые, ямские, на соль, на хлебное вино – на чем горбу вывезти сие?! Что хоть голод отступил на третьем годе, но обнищал народишко сильно – потому и бежит. А крепость на Юрьев день то отменяют, то снова возвращают, опять перейти нельзя к иному хозяину. А бежать как? – по дорогам служилые рыщут, беглых хватают, в кандалах везут. Не мудрено, что Хлопок объявился, и что дальше будет – порядка-то нет. Да и не всех похватили, многие в степи да леса утекли...

Царь, сказывают, хворает, с царского крыльца всех челобитчиков гонит. Лютует. Шуйских сослал, Мстиславских, Романовых тоже. Худородный царь, не Рюрикович, не Гедеминич, вот Господь и не милует. А вдруг крымчаки сызнова на Русь пойдут? Или литвины неумные али шведы?! Отобьемся ли? С сохи кого выставить? – некого, сколько народу померло или утекло! Да что там! – вона пошли на Шамаханское царство – да и то, без толку! Какое такое Шамаханское царство? Где оно вообще? Братцы, а чё туды-то полезли? Вот служба царская тоже не мед дворянам-то служилым. Но крестьянам всего тяжелее – гни тут спину, а как снова дожди да морозы? Хоронить уж некуда.

И все такое же да в том же духе.

А тут еще одно – в мае звезда на небе вспыхнула, яркая как солнце, и горела красным – точно к беде, точнее не бывает! Царь, сказывали, тож дюже испужался, звал к себе лифляндского старца, чтоб толковал звезду, да толку-то!

Все шло к концу света, ей-богу!

Уже третье лето жил Андрейка в Никольском с Настасьей. Обвыкся да подрос, стал первым шалопаем на селе, задирой и разбойником... не тем, что сейчас, конечно, а так – шалости одни. Всё ему было интересно, везде лез, села ему мало было, глаз да глаз за ним нужен был. Всё за околицу тянуло. То на речку сбежит, а там омуты. То в лес в малинник, а там медведица. То коровам хвосты свяжет, то шмеля пастуху в крынку засунет, то пауков соседке в кашу накидает. То с Петькой подерется, то с Ванькой, то с обоими, то с ними заодно супротив коростовских, с того берега реки.

Но чтобы не случилось, чтобы ни натворил – ночью всё к мамке приемной ластился, всегда ждал, когда ж позовет, спать без нее не мог, лишь бы обнять.

Никогда, никогда не забывал Андрейка теплоту ее мягкой руки, ее тихого голоса, ее вечерних песен за прялкою, ее доброго, сколько бы она не хмурилась, взгляда. И пусть, бывало,

и ругала его, и поперек лавки порой укладывала, но взаправду не сердилась, ни за шалости, ни за драки, и никогда не лишала куска хлеба, как бы тяжело им не приходилось.

Однако ж чтобы нрав такой его шальной обуздать, Настасья рано Андрейку к работе приставила, с 10 лет работал, почитай, как мужик, времени на шалости более не было. Хоть хозяйство и малое, а все ж - свинья, куры, надел земли. Лошади не было, а корова в голод померла от хвори.

Но без коровы как? Без молока, масла, творога? Кормилица ж!

Как погода встала, принялись работать вдобавок на старосту Кондратия Ивановича, чтоб полушку лишнюю отложить на корову. А Кондратий тот еще горлохват! Скупой да придиричивый! С его поля на свой надел бежали, со своего на хозяйский двор, где Настасья за птицей ходила. В летнюю пору умаривались так, что к вечеру замертво валились.

Но мечта грела – коровка. Полный день отработаешь от зори до зори – одна копейка, а за корову 67 копеек на базаре просили. Хорошо бы еще лошадь купить. Но за лошадь рубль и 38 копеек нужно. Мечтали - может, жеребенка бы взять, там доростили бы... Без лошади на себе пахать приходится. Без мужика никак – пока еще Андрейка вырастет! И без лошади никак – баба да мальчонка: велика ли сила?

Андрейка, лежа на печи, расспрашивал Настасью:

- Сколько это – рубль? Много ли это? А полушка сколько? А полтина? А гривна? Выходит, полтина больше, чем гривна? А деньга? А алтын? А сколько медных денег что стоит? Вот если лапти сплести да продать – сколько дадут? А ягод лесных коли насобирать чашу, сколько стоит?

- Спи, неугомонный! - просила уставшая Настасья, - всех денег не заработаешь, все равно боярином не стать, даже купцом не стать. Не наша еда лимоны, есть их иному. Лучше давай сказку расскажу...

И все ж стала на досуге учить его счету, раз интерес есть. Сядет за прялку, он подле нее, и давать гонять его – учиться.

В общем так и поживали: хлопот полный рот, а перекусить нечего.

Еще бабы к Настасье бегали. Вроде как по недомоганиям своим или домашних своих, за травами, настоями, пошептать ли, заговорить ли. Погадать кто на суженого, кто об чём, в дни между постами, на Святки особо часто.

Помнится, лежит Андрейка на печи, притворяясь спящим, краем уха, но слышит все эти охи-ахи-вздохи. Женский мир чудным казался. Полным тайн и глупостей. Но манящим.

Лучина едва освещает темноту внутри курной избы, свету дневному вовсе не пробиться чрез бычий пузырь, в простенке мыши шебуршат; на улице ветер пригоршнями снега бросается - аж не выйти, да соломенную крышу норовит разобрать. А Маланья какая-нибудь, девка на выданье, жалобно шепчет: «Теть Насть, ты глянь-ка, а, Христом Богом прошу, Ванятка ли засватает или Петька с Верхнего конца?»

«Вот, гусыня, - думает Андрейка, засыпая, - кто б не засватал, а быть тебе битой, Маланья... Женские умы что татарские сумы...»: пересказывает, что от деда Матвея слышал.

Дед Матвей - сосед, бывалый охотник и когда-то боевой холоп-послуживец у мелкопоместного дворянина. Там другие речи – как ходил дед на Ливонскую войну, что видал, как воевал, как люди в других местах живут. Дед без руки, руку ему на войне отрубили, но сам крепок и телом и умом, даром что древний, борода торчком, сам-один бобылем поживает на хозяйстве. Много знает дед, потому и любит Андрейка к нему бегать, послушать, поглядеть, поучиться. На охоту как ходить, чтобы птицу али зверя лесного поймать: селезнем как крикнуть, чтобы уточку подманить, иль как лисицу в силки заманить, иль хоть зайца. Какой характер у кого - у волка, медведя, куницы, белки. Как в лесу оберечься, как ночевку устроить, как лесные тропы распознавать, как лес читать, не бояться его. Такие дела. Даже с собой на охоту брал его дед Матвей!

Так прошло пять лет, самые спокойные Андрейкины годы жизни.

Вспоминает чаще хорошее. Оно, хорошего, много было, да плохое все перекрыло.

И все же в памяти осталось – закаты, игры, речка, сказы, песни...

Сядут девки-славницы, красовиты да наряжуши, летним вечерком у околицы на какой праздник – Троицу там иль Купалу, запоют разными голосами, кто высоко, кто пониже, и так поют, что плакать охота. На сердце прям жалостливо становится от страданий ентих... А через миг веселое что заголосят – так ноги сами в пляс пускаются! А пастух Павлуша им на дудке подыграет, али на жалейке.

Зимой, хоть и голодно, зато покатушки на ледянках с горки, Святки, мамка дома чаще, и не так робить...

Весной ждешь, когда ж растеплится, солнышку радуешься, проталинам, бежишь со всех ног к мамке: «Мамка, мамка! Лед тронулся! Речка встала!»

Ежели свадьбы играли, так вообще разгуляться есть где! Запоют после чарки-другой мужики да бабы в многоголосице, и вовсе хотца воспарить окрест соколом в небо синее, и лететь бы, лететь далеко-далеко, чтоб за край синевы ентою, за край мира.

И как бы жизнь сложилась, если б... Но не сложилась, а рухнуло в один миг...

Андрейке тогда уж лет двенадцать было. Считал себя большим. Хозяином. Ведь на Покров они, наконец, коровку купили. Еще и жеребёнка, у старосты Кондратия денег заняли до весны.

Этот день он отлично запомнил. С какой гордостью они привели с ярмарки пятнистую корову и тонконогого жеребёнка. Как на той ярмарке он от леденца с негодованием отказался: «Ну что ты, мамка (а он Настасью давно мамкой звал), я уж большак!» А она заплакала отчего-то, к себе прижала: «Да уж, вырос совсем, а я и не заметила...» И такая она ему красовитой в тот день показалась...

Зимой лапти плели, корзины из лыка, Настасья по полночи громыхала на ткацком станке. Челнок ходит туда-сюда, из нитей узор складывается, дивный-дивный, тама все птицы красные с черных вспаханных полей взлетают.

Всё, чтобы долг Кондратию Иванычу отдать по весне.

Жеребёнка выхаживали, холили-лелеяли, в избу в морозы взяли, дрожали над ним. Спасибо молочной корове – спасала и их, и его.

После пахали весной как проклятые, чтоб посеяться, держались из последних сил: «Ничё, ничё... потерпим... Зато по осени такой урожай соберём, враз хозяйство подправим... Бог даст... С лошадкой-то все будет веселей...»

Кабы знал он тогда, чем все обернется...

Но он не знал.

Не знал, что Кондратий зло затаил. За то, что на него более не батрачили. Что Настасья так и не согласилась стать его полюбовницей. Думал сломать ее, а она вона с приёмышем поднялась, корову купили, жеребёнка!

Не знал Андрейка, что беда близка, ой, как близка!

Его больше занимали новые занятные вести, которые разве что ленивые не обсуждали.

Слухи давно доходить стали. Вначале шёпотом их передавали, потом уж не таились. Мол, подумать только, царевич Димитрий, прежнего царя Иоанна сынок, жив-здоровёхонек, вовсе и не помер в Угличе, а схоронился, бежал с подвижниками в Речь Посполиту и сидел там до срока. Все потому, что силу копил, чтоб длинная рука Годуновых не достала. И мол идет он ныне с войском трон отцовский добывать. Вроде как через Северскую землю. В войске его служилые люди, да дети боярские, да казаки донские, да шляхта польская, и беглых холопов немало. Что идет Димитрий с милостью до простого народа, податей уменьшить обещал, даже отменить десятинную пашню, Юрьев день вернуть, покой и довольство обещает и справедливо править. Что ж, сам настрадался – нужду народа понимает.

До Никольского вести доходили сумбурные, верить ли им, никто не знал. Земля полнилась слухами и волнением.

Сказывали, Моравск да Чернигов сами сдались царевичу, а вот Новгород-Северский бился, но опосля сложил оружие. А царское войско во главе с князем Мстиславским вроде оттудова бежало, убоявшись, что истинный царевич пришел.

Но многие тому не верили – чтоб всякий сброд царского воеводу бил! И позже подтверждали, что вот Комарицкую волость зимою кровью залили за бунт против царя Бориса. Что де со всякими ворами так станет.

Иные баили, что Димитрий уж в Путивле, и уверяли, что многие города сами царевичу сдаются за будущие милости и поблажки. Что и вы бы не плошали, как придет до вас.

Третьи крикуны горланили, что не царевич это, что на Москве царские глашатаи на базаре возглашают, что это де беглый монах-расстрига, Гришка Отрепьев, чтоб люди ерести не верили. Что идет Гришка смуту да крамолу на Русь несет. Кто верить ему станет, тот клятвoprеступник и тать. Тому казнь лютая.

Однако ж весной того же года, едва почки набухли и листом изошли, новая весть – в одночасье помер царь Борис. Кто сказывал - от хвори, кто - от отравы, кто де Господь наказал. Сделался царем сын его Феодор, отрок годами.

Да тока недолго правил юный Феодор Борисович Годунов.

В мае в царском войске под Кромами Петр Басманов да Голицыны бунт подняли и всем войском перешли к Димитрию, винясь, что не признали в нем подлинного царевича. И теперь наибольшим числом двинулись к Москве через Орел и Тулу – гнать Годуновых.

Растерялся юный царь Феодор, медлил в решениях своих, заперся в московском Кремле, и войско супротив врагов не посылал. Об чём только думал, на что и надеялся?..

Между тем гонцы Димитрия по всей стране уже свободно ходили с призывами скинуть с царского места сынка Годунова, а истинного – Димитрия - поставить. Их - кого схватили - мучили до смерти. Но всех не поймаешь. И народ им верил.

В июне одних таковых – Плещеева и Пушкина – схватили в подмосковном Красном Селе, где те грамоты возмутительные читали. И под набат доставили на Красную площадь в Москву. Народу собралось тьма, и многие кричали позвать на Лобное место Василия Шуйского - тот вел дознание об убиении малолетнего Димитрия в Угличе. И спрашивали: «Правда тот малец царевичем был, или нет? Пусть откроется народу, наконец!» Тот и открылся, повинившись: убиенный отрок был сыном попа, а Грозного царя сынок спасся.

Сказанного Шуйским было довольно. «Теперь, – ревела толпа, – нечего долго думать! Всё узнали, значит точно царевич Димитрий жив! Принесем ему повинную, чтобы он простил нас, по нашему неведению. Долой Годуновых!»

Тотчас ворвались в Кремль и взяли Годуновых – отрока Феодора, мать его, сестру и прочих сродственников – и под стражу, а имущество их пограбили.

Через три дня в Тулу отправили к Димитрию послов. Пожурил их царевич, что долго не признавали его, повинил, и дескать сказал: «Как я пойду на Москву, коли там враги мои?», имея ввиду Годуновых.

Что ж, поехали князя Голицын и Мосальский, с дьяками и тремя стрельцами в старый Борисов дом и умертвили там Годуновых - царицу Марию с сыном удушили веревьём. Царевну Ксению, сказывали, сначала ссильничали стрельцы, после на постриг отправили. А старого патриарха Иова, который смутьянов проклинал, с бесчестием вывели из собора во время службы и сослали в Старицкий монастырь. Такие вот дела лихие, прости Господи народишко твой!

Теперь царевич в Москву вошел как право имеющий. Народ плакал, встречая его: «Здравствуй отец наш, государь и великий князь Димитрий Иванович!» И многие бояре его признали и ему поклонились. Богдан Бельский встал на Лобном месте и перед народом клятву дал, что пришедший Димитрий – сын Грозного.

Вот только польские литавры и трубы в коннице царевича звон благостный колокольный прерывали, радость народную осекая.

Вот такие вести. Что орехи сыпались.

Летом мать Димитрия инокия Марфа Нагая признала публично сына, громко плача и радуясь.

Летом же его венчали на царство в Успенском Соборе Московского Кремля при великом скоплении народа.

Все это никольским сказывала проходящая через село артель лирников. Шли те как раз из Москвы, потому и свежие вести несли, сами на венчании нового царя играли, де Димитрий Иванович охоч до музыки. На радостях и в Никольском сыграли, Андрейка впервые тогда колесную лиру видал. Ооочень понравилась ему ента музыка!

Вот бы жить дальше, поживать, цокали языками никольские, раз уж царь достойный наконец сел.

Казалось бы, какое дело в их медвежьем углу до московских событий, чтоб перетирать что да как там. А такое, что всё надея, всё та же надея – что жизнь к лучшему изменится. Так что и в Никольском перемены в царстве ни замеченными не остались.

Да не бывает все гладко в государстве московском, что-то где-то всегда идет вкривь и вкось, даже ежели царь правильный. Видать, дело в боярах неверных, что лгут царю, да советы злые в уши ему дуют! Недаром и Грозный так не любил ихнее племя боярское, рубил верхи, да корешки остались!

В поляках и литвинах дело, сказывали москвиты уже опосля гибели нового царя Димитрия.

Вроде так было. Жинка царя из польского рода Мнишеков – Маринка - прискакала со шляхтою немалым числом на венчание. Некрещенная в церковь православную вошла! А вели себя пришлые на Москве негодно, важничали, будто не в гостях, а как хозяева, москвитов задирали, даже родовитых бояр, сраму не зная. И еще будто веру православную на Руси захотели новые родственники царя отменить и переметнуть народ к католикам. А негоже веру предков предавать!

Да и вообще какие-то порядки царь стал заводить ненашенские. В платье польском ходил. И все пиры у него да охота. И в Крымское ханство поход снаряжать надумал.

В общем, чтой-то там приключилось в высоких палатах. Откуда мужикам знать, что. Да только вскорости вспыхнул бунт (может, к нему подговорили), и царя Димитрия Иоаныча через седмицу после обручения с Маринкою скинули с кремлевских палат насмерть. Иль сам бежать хотел? Да не убежал. Кто знает...

Тело же закопали. Однако ж через три дня вырыли (чтоб народу показать, что тот мертвее некуда), сожгли, прах с порохом перемешали, в пушку затолкали и в сторону Речи Посполитой стрельнули, чтоб той неповадно было на Руси порядки свои устанавливать. Вон оно как!

А так – поди разбери, что на самом деле вышло, где тут правда, где ложь – не понять.

Может и не его убили. Не Димитрия.

Кого ж тогда? Похожего! Да был ли он истинный царь? А как же нет, коли мать признала. Так, может, ошиблась, мальчонка-то вырос. Да бунтовщик это был, польский прихвастень!

Опять спорили, головами качали мужики никольские. И что теперь будет? Снова Русь без царя!

Как пожар события!

Василия Шуйского царем кликнули по-быстрому, без Земского Собора, без выборных со всех земель. Боярский царь, родовитый, будет ли от него поблажка крестьянству?

А крестьянам посеяться бы, урожай вырастить, жито пожать, к зиме подготовиться.

Тревога и неуютство царили на Руси. Будто движется что-то темное и страшное. В воздухе висит. Вот-вот грянет гром. Аж дышится тяжело. Недавний страшный голод в памяти и на

слуху. Умы в брожении и смятенье. Согласия меж людей нет. Кто об чем говорит да криком таким изводится, правду свою доказывая, что страшно, как бы за ножи не схватились. Злы люди друг к дружке стали. Кусок изо рта вынуть готовы - вот до чего дошло! Забыли Бога! Или Бог их забыл...

Летом стало известно, что идет из Северских земель атаман Иван Исаевич Болотников Шуйского скидывать. Кто таков вообще? Вроде как холоп боевой князя Андрея Телятевского. И князь-то с ним. Да терские, волжские и запорожские казаки, Илейкой Муромцем ведомые. Да не Илейкой, а Петром-царевичем. Каким таким царевичем? – да таким! А с ними рязанское ополчение под команду дворянина Прокопия Ляпунова. Да что там, и нашенские тульские с ними – воевода Филип Пашков ведет. И наемники ландскнехты. Большое войско. Дело-то правое.

Болотников-то идет от царя Дмитрия (спасся царь! спасся!), обещает присоединившимся земли раздать, и воли дать, говорит, будете сами боярами, возьмете земли сколько захочите, а кто служить пожелает – тому чины и жалование. Хватит-де ярмо на своей шее несть, предателям-прихвостням боярским служить, спины гнуть, шапки ломать, сами хозяевами будем, на своей-то земле родимой! И царь свой сядет - страдалец и милостивец.

Ох, заходят в крестьянское сердце слова енти, ох, и заходят!

И все удачно у атамана складывалось, к сентябрю уже взял Калугу, в Москву, сказывали, собрался!

Охте-охте, взбудоражились никольские мужики – совсем же рядом! Многие, едва урожай собрав, кинулись к Ивану Исаевичу – ну-ка, Шуйского одолел! Быть на царстве крестьянскому царю! Раз спасся Дмитрий, Бог беду отвел, и волю крестьянству дают – как не пойтить на выручку?!

Дед Матвей и тот собрался на войну. «Эх, - говорил, - тряхну стариною! Где наша не пропадала! Шальным дурным оно ж вечная память! А то засиделся я туточки, кости старые хоть разомну! А пропаду – так с весельем в сердце!»

Андрейка помнит, как и сам хотел пойти воевати. Канючал у деда Матвея, чтоб с собой взял. Мамку просил отпустить. Та аж расплакалась. «Что ж ты, - говорит, - сыночек, бросить меня хочешь? Старый-то дурень пусть идет, коль на месте не сидится! А ты ж дитя еще!»

Ох, и обиделся он на нее тогда! Дитём назвала! Не пустила! Сбег бы, да жалко её стало, все ж она одна останется на хозяйстве...

А тут беда в их хозяйстве как раз и приключилась. Вначале сдох жеребёнок, уже трех-летка, на следующий год полноценный конь. То бегал стреноженный, то в одну ночь раз - и не поднялся. Что ли хворь какая вышла...

Да только Настасья в сердцах кинула Кондратию Ивановичу обвинение, что де траванул животинку.

Тот обозвал ее дурой. «Баба, - сказал, - бредит, а черт ей верит, оглашенной!»

Тогда она пригрозила ему: «Бог не Тимошка, видит немножко! Постыдился бы, Кондратий Иваныч, вдову да сироту обижать!»

Тот пошел на нее что боров: «Счас де научу уму-разуму, давно вожжами не охаживали, видать, избаловалась баба, голос вздумала поднимать! Я-то их, сирот, жалел, а она неблагодарная тварь!»

Андрейка как увидел сие, то прям с разбегу головушкой Кондратию в пузо ка-а-к шан-дархнет: «Не трожь мамку, ирод! Побью!»

И смех, и грех. Куры, гуси из-под ног разбегаются, бабы кондратьевские кричат, тот сам аки жук на землю повалился, мужики бегут кто щелбанов отвесить, кто уж с вожжами, мамка плачет, кричит, загораживает его. Кутерьма, короче.

«Вот гаденыша пригрела, ворожея проклятая! – грозил им кулаком Кондратий. – Попомните у меня еще, какими словами кидались, в благодетеля своего! Чтоб я вам кусок хлеба кинул, да не в жизнь!»

Разругались в пух и в прах.

Ну, поперек лавки Андрейку все ж разложили. Высекли будь здоров.

И мамка винулась, в ноги Кондратию кланялась. Ночью плакала, Андрейка не помнил, когда еще она так плакала. Уревелась прям.

И он ей сказал тогда:

- Хочешь, я убью Кондратия?

- Что ты, сынок, что такое говоришь! Господь с тобой! Разве ж так можно?

- А как он – можно?? Ведь он злой! Мамко, почему Бог молчит? Почему он ничего не делает?

- Бог видит, сыне, Он его накажет, вот увидишь...

Да, Бог наказал. Но промазал, верно, когда целился в Кондратия.

Вскорости на следующей седмице ветер тучу пригнал с севера, черную-пречерную. Откуда ж взяться грозе в сентябре месяце? Однако ж взялась – божья воля. Ливня не было, а молонья была. Ударила в общинный амбар, где как раз оброк лежал к вывозу готовый. И не успели потушить начавшийся пожар. Часть зерна спасли, часть нет. А ветер так развихрился, что на избы соседские переметнулось пламя. Скот выгоняли. Скарб нехитрый спасали. Тушили всем миром.

А после стоя у погорелых стен, выли истощным воем с горя.

И кто-то с чей-то недоброй воли пронзительно крикнул: «Это ворожея злая во всем виновата! Настькина работа! Она проклятья на Кондратия Иваныча насылала! И вот наслала!»

И что с того, что Настасья, стоя на пороге, говорила толпе: «Бабоньки, охолоньте, при чем же тут я?! Разве ж моя вина?! Я ж с вами в одном миру! Что травы знаю, что с того?! Я ж с вами тяготу одну несу! Побойтесь Бога!»

Но кто ж ее слушал, когда все разом закричали в отчаянье...

Когда Настасья поняла, что беда пришла и ее уже не остановить, попыталась спастись и спасти его, своего приемыша. Захлопнула дверь изнутри избы, кинулась котомки собирать: «Пойдем, сыне, как божьи люди, калики перехожие, по дорогам ходить христарадничать, и то лучше, чем здесь сгинуть! Кондратий-то Иваныч нам все равно жизни не даст! Давай скорее собирайся!»

Они метались по избе, собирая одежду, пропитание в дорогу, как оголтелые, но конечно не успели, как в дверь ломиться стали. Тогда она вытолкнула его через двор с котомкой: «Иди, сынок, Андрейка, любимый мой, скорее иди, жди меня у леса! Я с ними поговорю, утихомирю их, и сразу к тебе! И не бойся ничего, дарёныш ты мой драгоценный, беги! А коли не приду, иди в Спасо-Преображенский монастырь в Белёв, тама братец мой родный иночествует, инок Тихон, у него приюта проси!»

И Андрейка не хотел идти и заплакал, хотя и считал себя наибольшим, и цеплялся к ней, звал с собой, но...

Вспоминая часто этот вечер после, уже действительно взрослым, не мальчишкой, у которого молоко на губах не обсохло, он всегда чувствовал, как подкатывает к горлу ком и внутри становится жарко и больно...

Они убили ее. Все эти бабы, что бегали к ней погадать, и мужики, что уважительно кивали при встрече (одна, баба, с приемышем, и с хозяйством не хуже их справляется), все они убили ее ни за что, по злему наговору. Повесили вину на нее. За что?! За молонью? Пожар? Или что мало Кондратию кланялась? Слишком гордою была?

Он не знал ответов, сидя подле убранных полей у кромки осеннего леса и плача как пятилетний дитёнок, навзрыд, кусая руки, чтоб не слишком громко. После он ненавидел себя, что ушел от нее тогда и не защитил. Что поверил, будто она поговорит с ними и придет к нему.

Уже не придет, не поговорит.

И под утро, едва забрезжил рассвет, когда сельчане утомнились от злодеяния, и, скрывая друг от друга полные стыда глаза, разошлись по домам, он вернулся в ихнюю избу. Не плакал боле, обнял мертвую Настасью (у виска лишь кровь была, камнем задело) и пообещал ей...

Пробрался на двор попа, дождался, как попадья курям вышла дать, метнулся к ней, протягивая два алтына да медных денег сколько было монет. «Схороните мамку мою, - попросил, пряча глаза, - не виноватая она ни в чем...»

Попадья руками лишь взмахнула. Не стал ждать, что ответит.

Ушел прочь с Никольского.

Но что пообещал мамке перед уходом, то и исполнил: подпалил избу Кондратия, пустил красного петуха, чтоб черное сердце его кровью облилось. Вот так.

На дороге уже, с пригорка, где все Никольское как на ладони, встал, обернувшись, поднял к небу кулак и вытолкнул из себя: «Вот тебе ужо, проклятый Кондрашка! За мамку получай! Чтоб тебе пусто было отныне и до веку!»

И долго еще видел на горизонте столб дыма и очень-очень надеялся, что не одна лишь изба Кондратия горит, а что все Никольское к чертям собачьим сгорит. Так ему больно было. И это была его первая месть. Его первый шаг, чтобы стать тем, кем он стал...

2. Вольному - воля.

Утро мучительное вязкое туманное – вставать не хотелось, все тело ломило, и от побоев покойного Рыжего, и от напавшей на него лихоманки. Видать, перекупался вчерась в холодном ручье. Голова как чугунок, а землянка стылая, даром, что август, а такой холодный и дождливый. Заставить бы себя вылезти из-под теплых шкур наружу... Плеснуть воды в лицо, разбудить огонь в печи, поставить воды согреться, кинуть туда сухих трав и брусники, снарядить силки на зайца, найти и принести сухостоя – тысяча мелких дел. А тело ослабло, мочи нет. И плечо ноет, куда Рыжий достал под конец, межеумок проклятый! И главное - бок отбит.

Душа просит тишины и покоя.

Хотя не тихо: скрипят стволы деревьев, трутся в земле друг об дружку мощные корни, шуршит ветер в кронах, вскрикнет то там, то тут птица – лес полон звуков. В лесу Андрей находил хоть какое-то подобие покоя. Если бы Настасью не убили, и он остался бы в Никольском, стал бы как дед Матвей охотником...

А может и нет... Может, это он сейчас так думает, и у него всего три дня, чтобы собраться с силами.

Но каково? – обвинить его в воровстве у своих! Ну и что, что он нарушил закон, приведя Аленку, - малое, что он себе позволил! Атаман он или кто?! Вертеть им вздумали! Да он как дурак за них рвался, рисковал собой! Он, он все это создал: сеть станов, чтоб сбывать ворованное! Да сеть докладчиков, чтобы следить за воеводой, за стражей, за шляхом, за всем! А докладчики что, от большой любви что ли докладывают? – всем платить нужно! Потому и добычу себе большую берет, потому как делится ею. Есаулы это знают, да и другие знают, но кто-то извратил все, выставил его вором. Готовили бунт, готовили!

Тать у татя дубинку украл! Ха! Кто ж такое придумал?

Может, Федор? Тот всегда, с самого начала, метил в атаманы, когда они только вдвоем зачинали сколачивать ватагу, да только в первых рядах его никогда не видно было, берег себя, лиса старая. Да разве ж он не предлагал ему?! Разве ж не говорил: «Федор Никитич, ты старше, тебе и верховодить...» Че ж отказался-то?

Или это не он подначил? А если не он, то кто? Кто ж тогда подначил Рыжего? Касымка? Себе на уме татарин, не дурак, хотя может, и в деле. Кто-то там еще тявкал... Илья Косоглазый что ли? Кузьма? Бзыря? Да не, горлопанить они все горазды, но не своим умом живут. Кому он так не угодил-то, что они на него Рыжего ставили?

И чё об этом думать-то, тепереча?! Решено уходить, так уйдет! Но куда? Он в этом лесу уже пять лет. Другого дома нет. И опять уходить...

Сколько раз уж! Сколько дорог исхожено! Сколько пар лаптей изношено! Вдоль да поперек исхожено - без покою, без надеи, в голоде, холоде, в разгар Смуты! Сколько можно ужо?!

И куда ж опять, куда?..

Мучает лихоманка-огнея, трясет всего, то в жар, то в холод бросает, тело израненное ноет, синяк на скуле глаз подпирает. Как тут сообразить, куда идтить и что делать?!

Хочется напиться, а медовухи на дне осталось.

Согревшись, напившись горячего отвару трав и прикончив медовуху, снова ляжет атаман под шкурами в землянке, то ли в бреду, то ли в полусне, явятся ему видения давно ушедших дней.

В монастыре ведь тоже долго не задержался. Пошел туда, потому как, куда еще. Последний мамкин наказ.

Оно, конечно, поначалу у него такое состояние было, что вот все равно, где быть. Такая тоска по мамке. Как дошел - не помнит, ноги сами шли, будто вел кто-то, а в голове одно: мамка...

Три дня добирался, ночевал в каких-то избах, порой в чужом овине, порой в стог забирался. По ходу подивился - как велика Русь-матушка! И сколько ж в ней народу! И мрут вроде как мухи, а всё не убывает. Сколько дорог, деревень, сел - идёшь, идёшь, а путь все не окончен.

Белёв ему вроде глянулся, на реке Оке стоит, раскинулся широко, дворы большие, избы в два этажа. Служилые какие-то шныряют. Кафтаны у них долгополые - и сермяжные, и цветные, и всякие, кушаками подпоясанные, с берендейками наперевес, а на перевязи сабельки. У кого шеломы да латы, у кого шапки суконные, у кого татарские, кто в лаптях, кто в сапогах, кто с пищалью, кто с пикою, кто с бердышом, кто с палицей. Глаза разбегаются. Кто такие, почему так много - не разобрал.

Народу вообще много. И кого только нет! Окромя служилых, посадских, чернорясцев и крестьян сермяжных, какие-то еще ходють, одеты чудно, перья вон на шапках, штаны широченные, чубы на черепушках и усы до грудины - чудно, ей-богу.

А конных сколько, только уворачивайся!

И над всем этим плывет колокольный звон, гулко, тяжело, ровно, и хочется от него спрятаться, такой печалью от его гула веет.

После Никольского пугает все это многообразие и толчея. Никого-то Андрейка не знает. И ничегошеньки. Чужой он тут, чужой. Была б рядом мамка...

Лучше б до монастыря скорее добраться. Примут ли? Коли не примут, что делать?..

Монастырь богатым показался. Стены каменные. Башни высокие. Стоит на всхолмье, будто дядька насупленный. Долго Андрейка торчал перед дубовыми воротами, думал - идтить иль нет. Ветер рвал кафтанишко, а он стоит, мнёт котомку, все решиться не может.

Вот если б знать ему тогда, что все эти служилые - войско Ивана Болотникова, куда он так с дедом Матвеем рвался, может и не вошел бы внутрь.

Но если честно, душу его тогда будто морозом выстудило, ни до чего было. Спрятаться хотелось от всего и всех. И замереть. Первые дни как стёртые из памяти. Да что там дни - месяцы - был как не в себе! Будто слушал и не слышал, смотрел, но не видел, делал, но не

он вовсе. Стылый, потерянный, чужой. Даже говорить тяжело было, привычные слова в горле застревали. Да и не хотелось.

Да, он нашел отца Тихона, рассказал ему о смерти сестры, в монастырь не просился. Помнит только, что спросил его, почему Бог таким злым оказался, почто мамку погубил, не защитил, почему молоньей Кондратия не поразил?

Почему, почему, почему...

Вроде и хотелось ему сердце брату мамкиному открыть. Даже на порыве хотел было рассказать, как избу Кондратию подпалил, но вовремя осекся.

Молчал отец Тихон, на всё молчал, и глядел сурово, а как Андрейка про Бога спросил, подзатыльника отвесил. Выдавил из себя: «Не суди дел Господних, тебе – несмышленишу – не понять замысла Его...»

Вон оно как – замысел. Замысел – как сгубить лучшую мамку на свете.

В общем оказался отец Тихон строгим моельником и молчальником, в служении Богу даже усердным, и от других того же требовал – молитв, смирения да трудов.

Определил Андрейку трудником, велел молиться, тогда-де Бог ответит.

И началась эта самая новая жизнь.

Как вспомнит, так вздрогнет.

Все эти бдения молитвенные – утренние, дневные, вечерошние. Труд при трапезной, в кельях, на дворе, на огороде. Это тебе не вольница деревенская. И не мамка добрая под боком. Монастырский устав строгий. На все свои уложения, хочешь тут быть – соблюдай. За всякую провинность часами на коленях стоять перед иконами, а коли урок не выучил, так не просто стоять, а на горохе. Слова лишнего не скажи, об чём не спроси – на все один ответ – божья воля, иди – молись.

Он пробывал. Встанет перед иконой, начнет молитву, а слова в глотке застывают, что воск от поплывшей свечи, в храме пусто и холодно, и внутри также стыло...

Лишь ночью прорывало, чрез сон, кричал и плакал. Стыдно, уж большой – плакать-то. Но скучал по мамке страшно, все хотелось услышать ее голос, иль чтоб обняла ласково, улыбку ее увидеть. Да ничё не надо, чтоб просто жива была!

Мучился. Иной раз думал: подрасту, вернусь в Никольское и убью Кондратия!

Потом руки опускались – мамку-то не вернешь...

Так – остаток осени и зиму.

И все ж нрав что ли, возраст, иль еще что – свое взяли. К весне ожил маненько.

Отец Тихон своим не стал. Его устремления никак не касались приемыша сестрино, неожиданно-нагадана ввалившегося в обитель. Не жалел словами, не гладил по голове, не дарил утешения. Даже про сестру более не говорил.

Однако ж спасибо на другом. Заметил старательность и ум племяша. Удивился, что тот циферный счет знает. «Кто учил?»: спросил. Андрейка не ответил, голову отвернул. «Что на словах знаешь – это хорошо, но надобно на бумаге читать, Андрейка. Грамотный человек всегда на вес золота!»

И принялся самолично учить.

Со счетом и мерами разобрались быстро, уже зимой Андрейка помогал с учетом припасов эконому.

А вот с чтением и письмом повозились.

Вручил ему Тихон книгу. Тяжелую, в темном кожаном переплете, с медной застежкой и выпуклой жуковиной посередке, по углам медные же наугольники. Книга пахла воском, чуток сыростью и чем-то еще. Раскрыл желтые, неровно обрезанные страницы, показывая на закорючки: «Это буквы. Буквы складываются в слог, слог в слова. Будешь знать буквы – будешь читать. Кто грамоте обучен – никогда не пропадет! Она что щит от невежества».

И потянулись дни, похожие как горошины в стручке.

Учил Тихон, как полагалось, по Часослову и Псалтырю. Часами гонял вначале по азбуке, потом по слогам, потом по той самой книге, что оказалась Псалтырем.

Голову сломаешь, пока запомнишь все это!

Но признаться, учеба отвлекала от тоски по мамке, да и интересно стало, не сразу, но стало. Любопытно было, как это ловко выходит с ентими буквами – они как бы по отдельности одно, а вместе – совсем другое, будто секрет какой!

Но всю дорогу одна награда - тычки да подзатыльники, то по загривку, то по лбу. Особенно тяжело далось начало – азбука. Повтор за повтором!

«Аз, буки, веди... глаголь... глаголь...» - подзатыльник – «Опять не выучил?!» - «Да учил я, учил! Аз, буки, веди, глаголь, добро... добро...» - подзатыльник – «Есть... зело...» - щелчок – «Живете пропустил! Не стараешься! Сначала давай!» - «Аз, буки, веди, глаголь, есть, живете... зело... земля...»

«Земля, - говаривала мамка, - это наша жизнь, сынка, земля утешит, накормит, а как путь земной окончится, спать уложить до воскресенья...» «Какого воскресенья?» - «Для жизни вечной, Андрейка... Архангел вострубит в трубу иерихонскую, люди из гробов восстанут, пробудятся от вечного сна и вереницею в рай пойдут, а там их ангельские чины встретят и к Богу под белы рученьки подведут...» - «Все встанут? И ты? И я?» - «Все, сыночку, и я, и ты...» - «А рай это что?» - «Это? Ну... будто весна... деревья в цветах все, и плоды уж вызрели, и жито колосится... А лев рядом с агнцем идет и не задирает его...» - «А лев это кто?» - «Лев-то?.. А, навроде собаки большой...»

Тычок: «Что застыл! Опять забыл? Сначала давай!»

«Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люди, мыслите...»

На глаза слезы пробиваются, кинь взгляд на Тихона - тощий, борода до пояса, ряса черная, обтёрханная, поверх нее вериги, клубок по самые кустистые брови, на него и не смотрит, лестовку (четки) все перебирает, беззвучно губами шевелит – молится, а стоит остановиться, тут же тычок.

«Наш, он, покой, рцы, рцы... слово, твердо...»

«Твердо, сыночка, на земле стой. Не кланяйся никому! Сам себе будь хозяин. И не бойся ничего. Бог укроет, али Богородица. Но и сам не плошай...»

«Ну, дальше!» - Тихон.

Андрейка молчит. После «твердо» все время забывает.

«НУ!»

«А ты, отче, не понукай! Не лошадь!» - это Андрейка зря, конечно, опять на горохе стоять придется.

«Ах ты, шельма! Огрызается исчо! Дальше – Ук! Ук! Ученье, которое никак не выучишь, дурень ты этакий!»

«Пустое брюхо к ученью глухо...»: обиженно в сторону. А то и, верно, в животе-то бурчит. Это Тихону, аскету, достаточно миски постной похлебки в день, а тут - растешь.

«После что?»

Молчание.

«После У. Потом *Ферт*. *Ферт* это что, а?»

Молчание. Хлюпанье носом.

«*Ферт* это величие, гордость, слава. Какие еще значения ты выучил? *Кси* это что?»

«Вот ведь привязался, - думает Андрейка, но отвечает, иначе ж не отпустит в трапезную, - это Душа!» – подзатыльник.

«*Пси* это Душа, а *Кси* это Дух! Ох, ты горе луковое!»

Мамка тоже так его называла – горе луковое. Снова носом хлюпает.

Тихон смягчается. «Ну иди уж. На следующий раз, чтоб все значения выучил от *Твердо* до *Ижицы*. Понял меня?»

Да понял, не дурак! Лучше выучить, чем снова в храме часы проводить.

В храме тихо, свечи горят, ладаном пахнет, окошки маленькие, сквозь них свет белый сочиться, с иконостаса глаза смотрят, и не поймешь их, чего хотят: укоряют ли, жалеют аль сердятся...

Весной и летом учиться стало тяжелей – тянуло на волю, хоть просто на улицу выйти! На улице ветер, солнце, облака, зелень, за воротами и того любопытней – город, посад, река... Вот сбежать бы на Оку скупаться в жаркий день... Хоть просто поглазеть, воздуха вольного глотнуть, чтоб без правил и окриков.

Чтоб в одиночестве про мамку подумать, вспомнить ее. Очень боялся забыть: голос, лик ее, глаза, улыбку. Думал, если забудет, то все – погибель.

Но нет, уйти нельзя, пока молитву о послушании не выучит, нельзя и из церкви уйти, не то, что за ворота. Вот и стоит, бубнит:

«Ты, Спасителю мой, Который из послушания, в продолжение тридцати лет в Назарете повиновался Матери Твоей, Преблагословенной Деве Марии, и хранителю девства Ея Иосифу, и по вступлении в дело великаго Своего служения был послушлив воле Отца Своего даже до смерти, смерти же крестной, сотвори, сотвори... – что ж там? Чешет репу... – чтобы... чтобы... чтобы и я, и я... – Как там дальше? – чтобы и я, я... по Твоему примеру... – эээ – по Твоему примеру во всем повиновался Тобою поставленным надо мною начальникам... начальникам... – и чегой-то я всем повиноваться должен, я ж не Спаситель?! – и исполнял все, в законе и Евангелии Тобою повеленное, так чтобы вся жизнь моя была непрерывным послушанием – ого! – которое соделало бы меня причастником... достойным причастником... благодати Твоей в жизни настоящей и славы Твоей в жизни будущей!»

Выучил!

Ох уж эта благодать, только и разговоров о ней, но кто видал ее?..

Как-то наблюдал, как постригали в рясофорные монахи послушников. Те на коленях к аналою ползли. Там настоятель отец Никандр руки на них возложил и волосы крестом с темечка выстриг, после облачение иноческое, рясу да камилавку, им торжественно выдал.

«Тако вот, Андрейка, и тебе надобно. – Сияет отец Тихон, редко таким его увидишь. – Станешь послушником, потом в рясофорцы... Малая, значит, схима, как у меня. Богу послужишь. Выше дела нет на земле, отрок!»

«А малая схима что значит?»

«А то и значит: отвергаться всего, что угождает телесным похотям – это раз, до смерти быть послушным всякому – это два, никогда не стремиться к стяжанию собственности – три. Для того власяницу носить как знак добровольной бедности, поверх параман – как благодать Христову, параман свяжет все страсти земные, а у тебя их гораздо, Андрейка, все о брюхе думаешь!».

Ну уж нет, как-то не радовала Андрейку эта доля.

Но пока – *аз, буки, веди... ук, у, ферт, хер, омега, цы, червь, ша, ща, ер, еры, ерь, ять, ю, юс большой, я, омега, юс малый, кси, пси, фита, ижища...*

И хоть кругом за пределами монастырских стен мир крутился большими событиями прям под носом у них, на ближних расстояниях, у Андрейки все «*аз, буки, веди, глаголь...*»

Зато теперь хоть ночью разбуди, скажет азбуку со всеми значениями!

Да и выучился читать-то. Да и писать с грехом пополам. Потом пригодилось и ни раз.

Пока Андрейка переживал свое горе, земля русская переживала смуту.

Полцарства в брожении. Будто Русь забыла, как стоять смирно: Северские и Черниговские земли отложились; что волны накатывали то одно войско, то другое, то третье; одни города вставали за тех, другие за этих; люди метались от одного знамени к другому; вчерашние союз-

ники становились врагами быстрее, чем высыхала роса на траве; а Русь наводнилась чужаками. Народ ждал истинного царя, а его все не было. Зато одних только царевичей что грибов после дождей повыскакивало! Спор стоял нешуточный: кто ж истинный царь, за кем стоять – за Василием Шуйским или за Димитрий Ивановичем (если жив)?!

В монастырской трапезной старец Паисий, крестясь и качая головой, шептал послушникам:

- Болотников-то под самой Москвой стоял, да не взял ее. Да-а-а... Без пушек город не одолеть. Крепость! Удумал тож! А теперь вот в Туле заперся. Говорят, сам царь Василий на осаду встал.

- Тула – близко... - боязливо жался один из послушников. – И долго ли продержится?

- Кто ж знает... - вздыхает Паисий. – Долго ли, коротко... в том ли дело. На чей стороне воинская удача. И с кем воля Божья. Порой не силой и хоробростью дело деется, порой хитростью решается. А царь-то Василий хитер. Они, Шуйские, завсегда ушлые были. Так-то, дети мои.

Паисий старый, добрый, глаза подслеповаты, колени не гнутся, робить не может, одной ногой уж на том свете, а вот любит поговорить, поделиться бывалостью своей. От него и узнавали, что за стенами деется, несмотря на запрет настоятеля.

Болотниковцы сопротивлялись отчаянно — упрямылись, что лучше им помереть, а не сдаться. Сиделись на пороховые бочки и зажигали их под собою, выдерживали великую нужду, бились на смерть, но Тулу не сдавали. С мая держались, а уж октябрь близко. И шел к ним на выручку гетман Меховецкий от царя Димитрия. Да и сам царь объявился в Стародубе, а позже встал под Брянском, войско копил, должен был прийти.

Все ж пали болотниковцы. Взял Шуйский Тулу хитростью. Велел по наущению купца одного запруду поставить на реке Упа и затопить город. Порох, хлебные и соленые припасы, ожидания и великие страдания сидельцев - все смыло водой, все напрасно оказалось. И гетман не поспел, и царя истинного Иван Исаич с сотоварищами так и не увидал. Пришлось сдаться на милость.

Так что прав оказался Паисий.

И хоть клялся царь Василий не проливать крови вожakov и простить провинности их, но обманул: атамана Ивана Болотникова ослепили в Каргополе и через год утопили, царевича Петра (сказывали - то казак Илейка Муромец) повесили, а князя Шаховского подстригли в монахи – так-то ни капли крови не пролилось! И без крови человеку легко помереть.

- Такое вот оно, слово царское... - бормотал Паисий. – Слово-то держит, да душа темна. Как бы не прохитрить ему весь свой век...

А Тихон в ответ ему цыкал, чтоб лишнего не говорил.

Тем паче гетман Меховецкий под монастырскими стенами аккуратно стоял, в Белёве. Да и ближние города - Епифань, Дедилов и Крапивна - также без боя перешли к нему.

Это ж вот, под боком, за стеной! А ты сиди и не высывайся! Рядом жизнь кипит, а тут эти треклятые «буки», да молитвы, да посты! Так все здесь обрыдло! Тошно!

Но как уйти, како на воле будет?

Собирался Андрейка еще летом бежать, думал к Иван Исаевичу податься, уж котомку собрал. Но засекли, посадили под замок на всю ночь. И всю эту он ночь он проскулил от обиды как собачонка.

Дальше уйти невмочь стало, следили и Тихон, и настоятель, и братия. За стену не выйдешь! Колют в глаза расстригой Гришкою да карой небесной. Пугают казнями. Вот, грозливо говорил Тихон опосля в октябре: смотри, сколько воров после тульской осады поймали и всех казнили. Даже случайных людишек хватили, всех, кто мордой лица не вышел и чем-то на вора походил. До двух тысяч, сказывали, схватили! Только в Яузе сколько утопили – дубиной по

голове и в речку! Тож так хочешь, на их место?! Жизни не знаешь, что деется – не понимаешь, молоко на губах не обсохло – а туда ж, воевать собрался, дурень!

Осекли.

И даже Паисий говорил: «Эээ, малец, куда ж бежишь?.. Что искать надумал? Тама мира не найдешь... Мир-то в душе, на Бога одна надея... А там-то в миру потерять себя легко... Враг-то роду человеческого не дремлет, отрок!»

Опосля таких слов Андрейка решится ни на что не может. Запал пропал, будто связан невидимой веревкой. Поднимется на колокольню, встанет и до рези в глазах всматривается вдаль - в излучину Оки, в поля, леса, луга, - и тоска такая, что мочи нет.

И тут-то судьба и у Андрейки вдругорядь перевернулась. Не своей волей, само вышло, на что сам не решался – судьба подтолкнула.

Собрался отец Тихон с тайною миссией до Ростова идти, как только от Белёва гетман отвалился с воровским войском.

Уж незнамо, с каким посланием шел, на что упование его было, но видимо дело срочное, раз хворым вышел. До того долго у игумена сидел, об чём-то беседу тяжкую имея. Вышел от него чернее тучи. Андрейка пытался подслушать, да благочинный шуганул - за ухо схватил и опять под замок.

Ну, и пришлось Тихону Андрейку с собой взять, куда еще шалопая сестриноного девать, раз за ним пригляд нужен? Ну, и сопровождение какое-никакое: к четырнадцати годкам возраст уже, здоровенный лоб. Тихон подумывал, что можно после и в послушники парня определять, а там и в рясофорцы. «Такой нрав, - рассуждал он, - только молитвой в узде удержать можно».

Торопился Тихон: сперва до Калуги дня два пути, потом до Москвы, а уж оттуда до Ростова дней пять-шесть. Путь не длинный, но в ноябре дорога – не прогулка. Шли под холодными дождями, по раскисшим дорогам, где на подводе, где пешком, гонимые стылым ветром, без прорыху, все бегом. Торопился Тихон, будто чуял: время его на исходе.

Так и вышло.

За Калугой свалился монах от лихоманки и помер на дороге под проливным дождем. Нет чтоб пересидеть где, подлечиться. И Бог ему не помог, и молитвы не спасли, и вериги, и аскеза. Вот так бывает.

Силился Тихон в предсмертном хрипе что-то сказать Андрейке, видно о поручении беспокоился. Но голос отказал. Оно и к лучшему.

Андрей не помнил, чтоб сильно печалился по нему. Замучил тот его своими бесконечными молениями. Просто последняя ниточка с мамкой порвалась. Но долг свой перед ним исполнил - и отпевание честь по чести заказал в сельском храме, и схоронил как полагается, и денег оставил на помин души смиренного инока и раба Божьего Тихона. Не жадобился, хоть понимал, что самому нужно. Возвращаться в монастырь намерения не было.

Но так-то растерялся поначалу: ноябрь, на пороге зима, холода, а он один, и одёжки справной зимней нету – уходили-то в путь налегке...

Да и страшно было, признаться. Так рвался на свободу, а вырвавшись – сжался, словно птенец, выпавший из гнезда до сроку...

К тому же лихоманка, что Тихона убила, подкосила и Андрейку - приболел. Валялся с седмицу на постоялом дворе, нутужно кашляя. Хорошо, что копейка была оплатить простой – из Тихоновых денег. Но и они таили, что апрельский снег.

Но упрямство что ли, воля уже тогда проросла в нем. Знал, что с пути не своротит.

Когда силы вернулись, понял: долго отсиживаться нельзя. Слухи доносили: царь Димитрий набирает людей, и довольствие дает, и платит. А главное – к нему берут всех, не спрашивая, кто ты и откуда. Это было важно.

Все ж декабрь исчо посидел на постоялом дворе - поймать Димитрия в его вылазках казалось непросто.

А в январе, когда царь окончательно встал в Орле (по слухам же), отправился в ставку.

Андрейка не то, чтобы так уж рвался воевать - воевать уметь надо. Так то, какой из него боец? Что он умел в ту пору? Больно шуплый, отрок еще, ни оружия, ни снаряжения, ни навыков. Вот только ум быстрый и грамоту знает.

Орел встретил адским шумом и суетой: крики, споры (а то и драки) тьмы-тьмушей мужиков, гомон множества языков, хохот и пьяные песни, лязг оружия, ржание лошадей, лай собак, сухие удары топоров и протяжный визг лучковой пилы (работали рубленники) – той пестротой вольницы, что немислимой казалось после монастырской строгости и тишины.

И как сухая земля впитывает дождь, впитывал Андрейка новые впечатления.

Кого тут только не было! Беглые холопы, служилые, дворяне и дети боярские, остатки болотниковцев, литвины и поляки (этих особенно много и держатся особняком), казаки и с Дону, и с Запорожья – пестрядь! Кто с перьями, кто в рубище, кто в шубе, кто в рясе...

Шатры, избы, обозы, кони, кострища, хоругви такие и сякие...

В одной стороне порядка вроде больше – там большая изба, сколоченная наспех, - дворец царя, сердце ставки. У дверей – стража в польских жупанах. Подле – такие ж избы поменьше – местные Дума, Приказы. Все как у царя и должно быть, но как-то бестолково, наперекосяк.

Над всем висит едкий дым и сшибающие с ног запахи – мокрой соломы, сырых шкур, конского поту, мочи, навоза, табака...

Слежалый снег не белый, а грязный, чуть не черный.

В один из приказов его и привели, где дворянчик небрежно расспросил Андрейку, что тот умеет. Кивнул, узнав про грамотность. За это и приняли, не за иное: читать письма, помогать при счете. Пригодилась Тихонова наука! Остальное было холопьем работой.

Дали место в битком набитой избе, где дуло из-за всех щелей.

Не жаловался – приноравливался, смотрел, слушал, запоминал.

И понял, чему учиться надобно.

Воинскому делу.

Учился у всех, с кем сводила ставка.

Литвин показывал сабельный бой, служилый один сказывал про пушки и гуляй-поле, казак с Запорожья учил с лука стрелять и в седле крепко держаться. Еще один мужик гонял с копьем и рогатиной управляться – чтоб в первом бою не растеряться. Многие сидючи от безделья учили драться на кулаках: мутузили дай боже! Терпел, мотал на ус. Тело болело нещадно от ежедневных многочасовых обучений. В глазах плыло, руки дрожали, ноги подсекались – но учился. Знал, что тем и спасет свою жизнь.

Любимой же наукой стала ножички кидать. Ножевому бою учил старый казак Степан, из донских. Он же огневому бою учил, как из пищалей и пистолей стрелять. Но ножи, да чтоб с двух рук, вот за это отдельное спасибо! Пригодилось и не раз. Степан, с которым особо сдружился, без усталости гонял его, чтоб навык закрепить. Весь в порезах Андрейка ходил, но упорством взял, научился основам. Потом уж сам оттачивал мастерство.

Как в явь слышит и сейчас скрипучий Степанов голос:

- Ты, паря, не торопись. Помереть завсегда успеешь. Ты противника изучи, что да как, какое слабое место у него, дожидися, как откроется. Тут терпение нужно, понял? Против ножа да в умелых руках ни один силач не выстоит, Ондрейка. А коли с двух рук научишься, то разом с двумя-тремя справиться сможешь. Понял? Но помни: против пистоли нож не поможет, и против сабли - навряд ли. И на одни кулаки не полагайся. Должен все уметь, паря! И так, и этак.

- Не суетись, пусть противник суетится. Целься сюды, сюды и сюды. - Показывая. - Двигайся быстро. Поворачивайся вот так и так, следи за кистью, понял? Захват, перехват, оборот! Коли противник крупнее и выше, ты его снизу поддень, он силу расплывает, а ты силу копи, ну уж коли нападаешь, то не медли, бей на смерть, понял?

- А как быть если в переделку попаду? – спрашивает Андрейка.

- Тогда не стыдно и бежать. Мертвым ничего не надобно. А тебе жить исчо. Тело само должно знать, чё делать. Оно умнее тебя. Как наостришься, думать не надо, чуйка должна быть. Понял, Ондрейка? На рожон не лезь! И молчунов бойся. Слабый человек себя криком обличает, кто силу имеют – молчат. Человека знать надо, Ондрейка. Каждому свой подход, понял?

Понял-понял, впитал как губка.

Хороший был человек Степан, бывалый, чем-то на деда Матвея похож. Седая борода коротко стрижена, черепушка голая, и будто в вмятинах вся, один глаз слеп от старого сабельного удара, зубы тож выбиты, так-то посмотреть – скореженный человек, а опытом и навыками молодого обгонит.

А столько всего разного повидал, этот Степан! Можно было ночь у костра просидеть, заслушавшись его историй, и не заснуть. Где как люди живут. Что на Дону деется, что на окраинах, каков порядок в Речи Посполитой, что у османов как устроено... Интересно аж сердце занимается!

Впрочем, тута они все были – поляки, литвины, черкасы. Присядь к ним в круг и смотри, слушай, впитывай. Им не зазорно и побабалакать с шустрым хлопцем, и посмеяться над ним же.

Помнит, один поляк к себе пальчиком позвал, ухмыляясь и корявя язык: «Хчешь закажич, хлопуку? На, везь те файке – спробуй!» – и смеяться, когда Андрейка пополам сложился от едкого дыма – «То не ядовита! Спробуй, спробуй!» Так что и табака тогда и попробовал.

Царя тож видал. Разодетый богато, на польский манер, важный весь из себя, а говор – что у простых, нос крючком, глаз вострый, темный, бегающий, волос кучерявый. Не шибко на царя похож. Но много ли царей доводилось видеть? Думал, царь это как наибольший боярин. А этот... не, не похож. Казаки у костров говарили, что вот де таким и должен быть народный царь, свойским... Ну и что с того, что пьет, как лошадь? – то переживает об делах государства! Ну и что, что в польское платье одет и что поляки от него не выходят – ну так у него жинка полячка, и шляхта под началом, что ж... И так на все.

Хотя умные из служилых молчали. Тот же Степан. Молчали, чё уж.

И как бы ни был молод Андрей, все равно чувствовал, что что-то не так.

Понаслушавшись от Степана, да и от других, про казацкую вольницу, загорелся Андрейка, замечтался – уйти на вольную жизнь, никого над собой не иметь. Вот, думал, поставим своего царя, и уйдет к казакам на Дон...

И навроде все было хорошо. Перезимовал, подучился многому, сдружился вон. Андрейка всегда ушлым был, умом быстрый, все схватывал на лету. Сейчас все пригдилося и обеспечило ему место атамана.

Но хорошего всегда помалу в его жизни было.

Приключилась одна история... Пришлось бежать на Дон до срока, аккурат как в ставке пожар приключился. Весна уж была...

Что вот теперь-то вспоминать?! До того ли?

Нужно подумать о насущном. Второй день здесь! А что дальше делать – не знает. Раньше само как-то всё придумывалось да решалось: хорошо ли, худо ли...

Проклятая лихоманка, будь она неладна, да не вовремя как! А ведь завтрева, до крайности через день, ему на ногах нужно быть во что бы то ни стало! Сильным и злым быть, а он тут тоске предается, старые раны ковыряет. Ненужные эти воспоминания...

Об настоящем думать нужно, а не об прошедшем!

Мысли потекли в другую сторону – что он скажет на кругу.

Что, что...

Что межеумки они все!

Да ничего не скажет!

Вещи соберет, залезет в пару своих схронов и...

Что за «и», дурачина?! Какое такое «и»?! Куда ему дальше-то?! Некуда идти... не к кому... не за чем...

Черт, Русь громадна, как же некуда?! На Дон пойдет, как когда-то хотел. Шел-шел-не дошел, об камень споткнулся, лоб расшиб, шишку набил, теперь вот здесь прохлаждается...

Так, уговорами-приговорами заставил себя собраться с силами, как раз пескарик в ловушку его зашел. Горячего надо, силу откуда-то взять.

Приготовил ушицы на костре и уж собрался трапезничать, как различил чутким слухом своим какой-то шорох подле укрытия. Схватился за нож – кого это нелегкая принесла? – но это оказался все тот же Никитка Кожедуб.

Когда тот вышел из-за кустов, Андрей ясно осознал, что хотел бы видеть сейчас на его месте другого человека. Хотел бы и не хотел, даже боялся, и прежняя тугая горячая обида захлестнула сердце.

Он отвернулся, скрывая ее, буркнул:

- Чего тебе?

Язык плохо ворочился в глотке, будто он разучился говорить.

Никитка присел рядом, улыбнувшись:

- И тебе здрав будь, атаман!

- Я ж сказывал так не называть, – недовольно буркнул в ответ, попробовав ушицы и, поперхнувшись, зашелся натужным кашлем.

Никитка поглядел на Андрея внимательно, но недолго – знал, что атаману не понравится, что его рассматривают. Но успел заметить и бледность лица, и усталость погасших глаз, и расцветший фингал над скулою, и общий унылый вид атамана (все равно пока что атамана!). Но оно и немудрено – схватка его с Рыжим была устрашающей, и покойный, не к ночи будет помянут, слыл сильным соперником – видать, досталось атаману крепко.

Андрей нравился Никитке, хотя тот и впрямь чудил временами по-черному, и правы были ватажники, что закон ему не писан. Никакой закон. Но Никитка видел, сколько тот тратит сил, чтобы и ватагу в кулаке держать, и добычу находить, да еще справляться с собственными бесами. Хотя... насчет последнего... скорее это они с ним... того. Но он считал Андрея справедливым атаманом, истинным вожаком и уж точно никого больше над собой не хотел. И пришел не только как ватажник, но и как друг.

Хотя можно ли было говорить о дружбе с тем, кто никого к себе не подпускает, окромя Кирюшки своего, да и того по старой, поди, памяти!

- Вот, хлеба принес, Марфута только утром спекла.

- А медовухи? – ну вот, кажись, ожил.

- И медовухи... – спокойно подтвердил Никитка, зная, что угодит атаману.

Тот кивнул, то ли благодарил, то ли указывал, куда класть. Но руки его чуть выдали дрожь – видать, совсем худо атаману.

Отрезал от каравая, снова кивнул Никитке:

- Будешь ухи? Наливай себе...

Налил, постучали деревянными ложками об миски. Молчали. Разговор потом будет, сейчас зачем портить трапезу?

Хриплым кашлем атаман снова содрогнулся, когда налил себе чарку, но ни капли не расплескал. Опрокинул горячительное в себя и, наконец, слабо улыбнулся.

Никитка понял – вот теперь можно и поговорить: атаман сыт, спокоен, и не взорвется порохом.

- Ватага шумит... – начал он. - У Рыжего-то нашли кое-что, не все, но нашли... Спорят с утра до вечера, но большинство за тебя, Андрей, чтоб остался ты...

Тот пожал плечами – ожидаемо, но для него неинтересно.

- Я скажу тебе, кто против, - жарко зашептал Никитка, и начал называть имена.

Лицо атамана оставалось непроницаемым. Выслушав, подумал: «Ну что ж... то горлопаны... а за ними другой кто-то стоит, кто умнее и молча направляет... Федор? Не похоже на старого ворчуна... а ежели и он, то от него так просто не избавиться, как от Рыжего. Тут нужно доказать его вину. Да и какова она? – то, что дураков на него подбивает?..»

Андрей скривился, поймав себя на мысли, что снова думает о делах ватаги, будто она все еще его, тогда как он вроде принял решение уйти.

Все же не выдержал, спросил, не поднимая головы:

- Что же... остальные?

Никитка догадывался, о каких остальных тот спрашивает.

- Так... Ну, Кирка, есаул твой, сидит в избе как сыч, ни с кем не говорит. Раз только крикнул особливо громким, чтоб заткнулись и бред не несли... что ты де не брал их схронов... что никогда б у своих не взял... и что Рыжий по заслугам получил... – Никитка помолчал, ожидая реакции атамана, но той не последовало, и он продолжил: - Федор молчит тож, но на сборы ходит. Иногда и скажет что-то - вроде он и не супротив тебя, но вроде как и супротив... Вот давеча предложил, коль останешься ты атаманом, уменьшить твою долю вдвое... де так по уставу... – Никитка пожал плечами, а Андрей вдруг резко и громко захохотал, ударив себя по бедрам, но тут же снова зашелся дробным надсадным кашлем.

- Вот ведь хитрый лис! Законник, лишь бы по уставу все! Где он устав у татей видал?! - проговорил после. - Ну вот что, Никитка. Скажешь им, что ежели я и вернусь, то чтоб всё, как прежде, было. А нет, так и нет – мне резона бодаться с баранами нету. Решения своего менять не хочу. И еще скажешь, то завтра я не приду...

- Ждать же будут...

- Пусть... – потом помолчал, проговорился: - Хвор я, в таком виде тяжко разговоры вести, ты ж видишь.

- Может, тебе что нужно? – встрепенулся Никитка.

- Ну... коль еще медовухи принесешь да хлеба – буду благодарен... – поднял глаза, ошпарил взглядом. - Токмо... смотри не говори там... где я и что...

- Ты чё, атаман?! Я на твоей стороне! Веришь?! – возмутился Никитка.

Но верил ли ему атаман – не знал.

Помолчали.

- Ну а с тем что? – задал еще один мучивший его вопрос атаман. - Похоронили?

- А как же! Прикопали, куды и всех... Собаке собачья смерть, не жалко! Хоть тож – человеческая душа...

- Как хоть звали его, не припомню? А то все по кличке...

- Гришкою, кажись. Да ты не тревожься, Андрейко, он по заслугам получил. Теперь ватажники тебя еще больше зауважают.

- Видал я их уважение! Спасибо, наелся каши ентою! Иди-ка ты, Никитка, до двора, устал я тут лясы точить с тобою! – атаман поднялся резко, показав, что разговор окончив, выпроваживая хмурным взглядом.

Вот как, выгоняет, туды-сюды, и пшел вон! Ох, была доля правды в обвинениях Рыжего! Из воздуха Андрейка себе врага слепит окриками своими и гордыней окаянной!

Тоже встал Никитка, разозлившись.

- Ты енто, атаман, кончай дурить! Горячку не пори! Умом пораскинь: куда идтить-то тебе в такую пору?! Один пойдешь, тут же стрельцы схватят и в Разбойный приказ! И поминай как звали! Против силы не попрешь. Воевода так и ждет подарка! Сам знаешь... А тут – надежно, за болотами сиди, чужие не придут!

Нахмурился, кулаки сжал, стрельнул взглядом, зубы аж крошатся:

- Не твое дело, Никитка, куда пойду! Русь велика! Что ж - прикажешь остаться? Ентим кланяться? Челом им бить? Простите за ради бога, разбойнички-находальники, шиши лесовые, подвел вас, ага, кошель с ефимками не отдал, подельника вашего убил, схроны ваши не уберег! Звиняйте!

- А ты сам, сам почем им не сказал, на что ефимки пошли?! Что на подкуп отдал, чё не сказал? Знаешь, Андрейко, люди-то простые, им объяснять надобно, а ты все по-тихому, не снизойдешь...

- Никому ничего я не должен! Буду распинаться тут! Они меня бабой моей попрекнули, положением моим... Ну пусть другой с тем же справится! Мне надоело, окончен разговор.

Отвернулся, насупившись.

- Про Аленку не думай... Один только брякнул... Люди видят любовь твою злую...

Андрей резко втянул воздух, будто его ударили под дых. На миг даже не смог ответить – только сжал пальцы в кулак, и взорвался хриплым криком:

- Иди уже отседова, Никитка! – и опять раскашлялся, за горло себя схватил.

- Уйду. Завтрева жди. – Никитка еще потоптался. Мысли разные и много слов теснилось в голове, так и рвались с души. Но как с опаленным этим человеком говорить?? Все же за собой оставил последнее слово: - Уйми гордыню, атаман, обуздай страсти свои. Люди на твоей стороне, а тех, что нет, выгоним. Думай.

Махнул чернявой головой в ответ, снова кашляя. И бок зажимая. Видать, болело.

Ох, лихо, подумал Никитка, споткнувшись об это каменное лицо атамана с напряженно сжатыми губами, туточки по-другому действовать надо.

Ушел. И долго еще сидел атаман, уставившись пустым взглядом в пляшущее пламя костра...

Думал.

3. Кирюшка.

Ладно. Подумать... Ишь, указал...

Ладно, подумает.

Подбрасывая дровишки в костерок и по-тихому напиваясь медовухи, отпустит себя. Отпустит злость, обиду, умерит гордыню. Будто поплывет, скорее потонет. Воды глубоки, холодны, разгоряченную душу успокоят, мысли расплетутся и сплетутся в новый узор. Что-то из прошедшего, что-то с нынешнего. Вопросы. Ответы. Была бы нитка, дойдем и до клубка.

Рыжий – и с чего это об нём спросил? Какое ему дело, где прикопали паскудника? Что-то тут есть... Вспомнил, как тот появился у них - высокий, молодой, веселый, лихой. Кажись, года два назад. Кажись, холоп княжев. Кажись, девку какую-то ссильничал, а та непростая была, дочка дворянская что ли – едва убежал от наказания. Ватажникам враз приглянулся: шутейный, легкий, всё ему ни по чёму, всё как с гуся вода. В схватках скор на расправу, человечка прибить, что муху прихлопнуть. Хороший боец. Бесстрашный. Кто ж привел? Так Федор и привел.

Вот оно. Замену, значица, ему искал и нашел. Ай-да, Федор Никитич, ну и хитер ты, старый пень. Чем же я тебя не устроил? Долю ты хорошую имеешь, место есаула, в дело не ходишь особливо, все больше на хозяйстве, как и хотел. Сам же атаманить не хошь, отказывался не раз. Чё тогда?!

Думал, побьет меня Рыжий. Оно и побил. Вона раны ноют, бока отбил, плечо саднит, глаз только-только открываться начал. Молодец, что и говорить. Видать, не знал только, что я Степанову науку давно уж превзошел. Брыдлый межеумок твой Рыжий!

Черт с ним. Верно Никитка сказал: собаке собачья смерть!

За Федором приглядеться надо, отчего он воду мутит.

Ватажники. Черт побрал бы их! Можно было бы натянуть вожжи атаманства, почистить наиболее ретивых, горлопанов выгнать. Нет, лучше тоже прикопать. А еще лучше, пусть сами разберутся друг с дружкой. А он поможет. Если останется. Заразу эту в корне выжечь. Чтоб неповадно было. Чтоб впредь остерегались бунтовать против. Лучше б меньшим числом ватага, да верные чтоб человечки. Ну-ка, попрекали его! Глаза кололи, то не то, это не то! Касымку выгонит, пусть идет себе ханум искать подобру-поздорову. Илейку тож. Пока им кровь не пустишь, не усмиришь. Стояли, глянь-ко, подначивали, «врежь ему!» кричали, радовались, что Рыжий атамана бьет! Ну вот и повеселимся! Дождутся, огурялы!

Стоит ли возвращаться?

Еще не решил. Обрыдли все. Стараешься за ради них, печёшься об них, а они нос воротят!

Шубу взял! Кто попрекнул, вспомнить бы... Ничё, всем припомню. И шубу то ж. И про ефимки. И про бабу мою.

Объясняй им, как же. Объяснять божедурью ентому!

Но идтить... ныне... в дальнюю дорогу... Так-то да, тут прав Никитка. Воевода больно обозлен, ищет со стрельцами, оттого в последние месяцы не ходит атаман с ватагой на дело, затаился.

И зима в глаза катит.

Да, мальцом мечталось на Дон. С тех пор воды утекло сколько. С тех пор на многое глаза открылись.

Нету нигде счастливой и свободной жизни. Нету рая, а ад внутри, с собою носишь. Куды не пойдешь, все одно будет. Пламя, что точит изнутри и сжирает, не даст покою нигде.

Они этого не поймут.

Ну, а главное. Как один пойдет?

Встал, походил, вперив взгляд в темнеющее хмурое небо.

Как же он - Кирка, Кирюшка, братка названный, дружок закадычный?

Баба то ж, не оставить. Любовь его горькая. Хоть и не венчаны.

Марфуту тоже привел... как мать ему... не бросать же...

И опять же Кирюшка...

Вот оно больное!

Даже Никитка пришел, беспокоясь.

А этот где? Не волнуется, видать, плевать ему, видать, глаза опустил, испужался, иль завинился, не поймешь. Паскудник.

Вернулся к костру, подкинул валежника. Искры взметнулись столбом. Крикнула птица. В сумраке будто кто-то рядом шумно вздыхал и жевал. Андрей тоже вздохнул.

Это-то и царапает сердце. Что все так повернулось. Даже дружба их вкривь пошла. А думал, это уж надежнее всего. Пуд соли вместе съели, столько дорог прошли, столько испытали. Выручали друг дружку не раз. Под сверкающими Стожарами, кровь с ладоней пустив, клялись в вечном братстве. А теперь глаз не кажит!

Стыдится что ли? Теперь они ругаются, не говорят друг с другом днями, будто чужие. Ужели и он отступился?

От этого худо. Ох, и худо. Может, и хуже бывало.

Как тогда, когда ранили сильно, это уже в этом лесу, три года назад, кажись. Так ранили, еле ушел. Если бы не Таир, его верный конь, до лагеря живым бы не доехал. Ночь, февраль, лютый мороз, все замело, волки воют – страсть господняя... он едва на коня вскарабкался, а конь в снегах тонет, но самому не дойти – стрельнули стрельцы, когда гнались за ним. Кровью истекал. И как только выжил? В чем душа держалась...

И отчего он всегда так стремится выжить? Но тогда... тогда он прощался с жизнью. Кирка плакал. И остальные ватажники приходили, топтались, кручинясь. Ему казалось в те больные

дни, они все – одна семья. В беспамятстве был, но как Таир до лагеря доехал (умный конь!), пришел в себя и подумал: «Вот он, дом! Здесь и помереть можно...»

Но не помер. Марфута выходила, она тогда уже появилась у них. Мать одного из тех, кто ушел в войско Ивана Болотникова, да и сгинул под Калугой. Травница - Марфута. Как Настасья. На этом сходство заканчивалось. Суровая старуха, неулыбчивая вовсе, может, и правда ведунья. Хотя ведунья не назвала б его богохульником. Он давно уже в Боге разуверился, давно расхристан – чему они все удивляются?

Ну не сдох тады. Так-то был бы уж у сатоны в гостях.

Вот странно, в Бога он особо не верил, а в сатону очень даже. Но не боялся его, нет. Нет хуже зверя на свете, чем человек. А черт, даже наибольший, лишь есаул у человека на подхвате – так считал.

Андрей пнул братину с медовухой, пошевелил огонь палкой, чтоб взметнуть искры вверх, усмехнулся про себя.

Вот они упрекают его, что он много пьет хмельного. Что он жесток не в меру. Что несправедлив. Некоторые говорят, что он чуть не одержимый, страшный, отчаянный, опаленный человек. Тартыга. Убивец. Тать. Что видит он свой путь в сумрачной мгле. Что сгинет в этой мгле, и поминай как звали. Испужали черта адом, а ежа голым задом.

«Они» - это те, кто рискует говорить с ним. Ближний круг. Кирюшка. Марфута. Никитка иногда. Еще парочка смельчаков. Аленка то ж. Но они не знают. Ничего не знают. Истинно ничего об нём не знают! О том, как всё в нем стгорело в те прежние дни, и продолжает стгорать сейчас, и ему уже не остановиться, не спастись. И да, может, он и много пьет, но хотя бы может выпастись, когда пьет.

Так что бутыль, принесенная Никиткой, была опустошена в тот же день. Зато ночь прошла без сновидений, без мыслей, без воспоминаний, без сожалений.

Утром проснулся уже более окрепшим. Выполз из землянки с мыслию, что может и останется атаманом, если попросят хорошенько. Если по-своему всё сделает.

В силочку попал заяц - вот удача. Сварит горячего, отоспится еще день, завтра глаза совсем откроются, кашель на спад вроде идет. Завтрева говорить можно.

Простыми делами себя занимал. Прислушивался. Должен вскорости Никитка прийти.

Все равно пропустил. Дождь моросил, костер на улице никак не разгорался. Потом уж ожило пламя. Собрался котелок ставить да оступился на мокрой траве и опрокинул ведро с водой. Пришлось до ручья идти.

Не успел дойти, как шорох, ветка треснула под ногой. Рука, конечно, сызнава от лихого к ножу на поясе потянулась. Никитка ли?

И... не ожидал, и отступился даже, как увидел.

Кирюшка.

Стоит, смотрит, руки в кулаках сжимает-разжимает, светлые волосы вымокли из-за дождя, серые глаза смотрят будто... а, пустое!..

С минуту молчали, глядя друг на дружку. Андрейка отвернулся, скрывая изменившееся выражение лица, и молча все же дошел до ручья.

- Андрей... – тихо позвал Кирка, и видя молчание его, снова: - Андрейка... Я... – осекся. – Медовухи, хлеба принес... Никитка сказал, что ты болеешь...

- Отрежу язык болтуну! – зло вырвалось.

- Ты что! Я сам его выпытал! – Кирка такой пылкий, когда кого-то от него защищает. Но не когда нужна защита брату (брату ли?).

Андрей резко повернулся. Усмехнулся:

- Ты что ж – и правда думаешь, что я могу другу язык вырезать?

- Другу? Нет, не думаю... – осекся.

- Вот врешь же, Кирка! – Андрей скривился. - Опять врешь! И да, Никитка – вроде друг. И може, у меня друзей-то боле и нет?.. – он склонил голову, искоса взглянув на Кирюшку. Не собирався этого говорить, но выскочило.

Не стал ждать ответа, отвернулся, черпнул воды в ведро и прошел мимо Кирки, более ни слова не говоря, но чувствуя, как внутри вскипает гнев и плещется обида.

- Разве ж я тебе не друг? – тихо спросил Кирка в спину.

- А разве тебе у меня нужно спрашивать? – спокойно, уже собравшись, ответил, не поворачиваясь, делая свои дела.

А дела были такие – зайца разделать, хоть мяса пожрет.

Слабость прошедших дней давала знать. Он глухо закашлялся. Проклятье.

- Лихоманка? - спросил Кирюшка, чтобы хоть чем-то нарушить давящую тишину меж ними.

На самом деле Никитка сказал ему о лихоманке. Кирюшка как увидел, что тот прихватил хлеба, медовухи, сразу смекнул, кому всё. Вот и спытал его словом. Просил сказать. Ведь тайком он уже исходил несколько известных ему схронов Андрейки, но нигде не нашел его. Про эту землянку он не знал.

Вроде в чем его вина?

Но теперь видя перед собой колючего, холодного друга, молчаливого и язвительного, понимал, что виноват.

Виноват, что не кинулся к нему, когда его несправедливо обвиняли. Когда его бил смертным боем Рыжий. Когда он увидел эти отчаянные глаза, выискивающие его, на залитом кровью лице. И что не побежал вслед за ним, стремительно покидавшем лагерь. Раненым, между прочим.

Почему? Вот почему?

Потому ли, что они поругались накануне?

Нет, конечно.

Да, поругались. На этот раз из-за бесова сына, нового ватажника, Яшки по кличке Кат. Кат он и есть кат, палач первостепенный. И зачем только Андрейка его в ватагу принял?! Уж год почти как. И они там в палаческой такое вытворяют, Андрей сам не свой отгудова выходит. И так худо было, теперь хуже некуда.

Но не из-за этого он за ним не пошел. Положа руку на сердце. Если уж честно хотя б пред собой.

Новое, новое в Андрейке... Кирка уже многое чего видел с ним, но это было... еще один шаг туда, в тьму...

И все из-за этого Яшки! Его влияние.

Андрейка дрался с Рыжим ну, как всегда дрался, – остервенело, жестоко, но не теряя головы, и так-то Кирка не сомневался, что схватку он выиграет. Многие недооценивали атамана, обманываясь невысоким ростом и худобой. И даже те, кто видел его в битвах, все равно недооценивал, пока не пробовал на себе. Андрей всегда знал, будто чуял, у кого, где, какие слабые места, и всегда выбирал верную тактику, чтобы в нужный момент вцепиться в противника волчьей хваткой. Он убивал легко, безжалостно, стремительно. Его не пугали реки крови. Его ничто не пугало, даже собственная смерть.

Но в этот раз с Рыжим было все хуже.

На самом деле вначале Кирка думал, что атаман отпустит своего лучшего ватажника. Может, попытает, чтобы выяснить, кто его подбил на бунт, но отпустит дурака. Ведь раньше они даже вроде приятельствовали. Может, выгонит из ватаги, но...

Андрей убил его с предельной жестокостью, Кирка до сих будто ощущает запах паленной плоти (когда Андрей держал руку Рыжего в костре, страшно так улыбаясь на его крики), и

видит это его лицо, эти его черные торжествующие глаза, которые смотрят на него холодно, безжалостно, глаза истинного убийцы.

Нет, Кирюшка тоже убивал, а как же, он же разбойничает вместе с ним, с Андрейкой, но убивал не так... не испытывая от этого радости...

Что его не пустило пойти за Андреем в тот день? Оцепенение, морок какой-то. Тот ли это Андрейка, с которым они братались, который...

Господи, да что он такое думает! Это все равно он!

- Андрей, - снова тихо позвал, наблюдая, как тот разделявает зайца, - Андрейка, ты... прости меня... я... растерялся в тот день...

Тот и глазом не повел. Разве что нож в его руке замелькал с удвоенной силой.

- Я знаю, что ты не виноват... Что схроны их не трогал и тебя подставили... Кто-то нашептал им, подначивал... Я бы никогда не подумал, что ты... – тянул, мямлил, но вдруг, резко, сам себя оборвал. - Неужто ты и впрямь хочешь уйти из ватаги?!

Андрей долго молчал, только руки скоро двигались в работе. Наконец, буркнул, не поднимая лица:

- Тебе что до того?

- Я с тобой пойду!

- Зачем? – спокойно, почти спокойно спросил и посмотрел (глаза вмиг полыхнули), - ты ж сторонись меня как огня... Наши дороги, почитай, разошлись... Были друзья да названные братья, а стали так... Вот и не цепляйся ко мне более, Кирюшка...

Вот ведь новость – такие речи от него слышать! Кирка тоже полыхнул, кинул:

- Что, с Яшкой своим пойдешь?!

- Тебе-то что? – снова повторил, нехорошо улыбнувшись.

- Да то! Не друг он тебе вовсе! Использует тебя! Тешится рядом! Кат он, истый душегубец!

- Как и я, - снова спокойно ответил.

- Нет.

- Да.

- Не такой ты!

- Такой.

- Я знаю тебя столько лет, Андрейка!

- Так прежнего ж меня и нет, Кирюшка, сгинул давно, а ты и не понял что ли? – изогнул бровь.

Кирка покачал головой, закрывая глаза. Он и сам так частенько думал, что прежнего Андрейки нет. Что-то с ним произошло такое, что-то очень его изменило.

И все равно.

- Не отпущу тебя одного, - прошептал, - как знаешь... хоть убей меня...

- Как дитё ты, право... – усмехнулся, рывком встал и ушел в землянку. Зайца своего бросил. Будто разговор окончен. Будто убежал.

Но нет уж, не окончен! И Кирка решительно пошел следом.

В землянке топором висел спёртый дух. Стоял котелок с какой-то травой, две немытых миски, еще котелок, кружка, пустая бутылка из-под медовухи, лежала четверть каравая. На полатах в беспорядке валялись пара-другая волчьих шкур. Но было темно, лучина погасла, и очертания предметов скорее угадывались привычным глазом. Печка давно потухла, и было зябко.

Кирка открыл дверь, впустил света и воздуха.

Андрейка сидел на лавке, уставившись на свои руки.

Взглянул на вошедшего, но ничего не сказал.

Выглядело это так... будто он прежний, и просит об чём-то. Молча и отчаянно просит, но и не ждет ничего в ответ. Сердце дрогнуло. Кирюшка сел рядом, приобнял друга (и тот даже не стал сопротивляться) и прошептал:

- Не пушу... что хошь делай, но не пушу одного...

Не пошевелился в ответ, но и не вырвался. Вроде хотел ответить, но слов не нашел.

Посидели так молча, каждый об своих думках, пока замерзать не начали – все ж скоро осенняя пора.

- Давай-ка я зайчатины сготовлю! – бодро произнес Кирка. - А то что-то жрать охота!

И он и вправду принялся хлопотать. Андрей смолчал, посмотрел на него, но смолчал. И взгляд его, что Кирка на себе ловил, был и тяжелым, и задумчивым, но в конце концов, он проговорил, вздохнув:

- Дай медовухи, Кирка, ты ж принес...

Кирюшка мотнул головой:

- После, как сготовлю... Ты прилег бы... коли хочешь с ватагой скоро говорить, в силе следует быть... А ты не здоров еще. Лезь на полати, печь растоплю счас.

- Я уже здоров, - буркнул, но на полати полез.

И вот ведь – в тепле разморило, заснул и скоро так заснул.

И снилась ему река, холодная, в пупырышках мелких волн, - неширокая, но глубокая осенняя река. Будто он в ней тонет. Руки-ноги так заледенели, что не пошевелились... Вода, как в омутах, тянет вниз, он захлебывается, теряет силы... И бросает последний взгляд в небо... А небо - серое, неприветливое, скучное. И меж ним, тонущим, и тяжелыми тучами - лишь злой ветер гуляет, а за ветер никак не ухватиться... И уж все равно: может, и не стоит больше бороться?... Странно лишь, что кто-то настойчиво тормошит его, зовет... Он делает вздох, ледяная вода врывается в глотку, внутренности разрывает мгновенная боль... Он кричит и просыпается с бешено колотящимся сердцем.

Сон. Всего лишь сон. И встревоженный Кирка рядом с кружкой воды в руке.

- Опять сны? – с беспокойством спрашивает.

Да пошел он к черту со своей заботой!

- Медовухи дай, черт тебя дери, не воды! – резко отвечает, стаскивая себя с полатей.

Но... этот... неумолим, качает головой и приходится пить воду.

Зовет есть.

И они молча трапезничают, как вчера с Никитой.

Андрей оглядывается. Замечает, что в землянке прибрано. Лучина горит. Гляди-ка, воды нанес, дров, сготовил жратвы, заварил трав... Заботливый, черт! И снова нехорошо от этой заботы.

- Ну что ты хочешь от меня, Кирка? – спрашивает, наконец, устало.

- Вернись в ватагу, а ежели упёрся – уйдем вместе. Не гони меня от себя, Андрейка...

Отворачивается:

- Так это не я гоню, это ты сам бежишь...

- Не от тебя... а от того, кем ты хочешь стать...

- И кем же?

- Катом, как этот твой... – кривится и отворачивается, потому что не хочет опять ссориться, но потом дотрагивается до его руки, шепчет:

- Помнишь, как мы в реке купались летом? Ты меня плавать учил... Как весело было... И ты хорошо учил, но я все равно испугался и нахлебался воды, чуть не к дну пошел, а ты меня подхватил и на берег потащил... А потом как обогрелись, снова в воду загнал... Ты сказал, что так надо, чтобы выгнать страх... Помнишь?

- И что? – буркнул, но голос дрогнул.

- Ты всегда учил меня этому: чтоб поперек страха, супротив боли, чтоб силу внутри растить. Сейчас ты тоже не должен сдаваться. Докажи им, что ты атаман, что правда за тобой. А потом ты решишь – уйтись или остаться. А я буду с тобой, и не думай гнать меня прочь!

Андрей хмыкнул:

- И это говоришь ты? Который завсегда против...

- Не завсегда! – прервал. - И не тогда, когда ты прав!

- Что-то я не видел, чтоб ты мою правду поддерживал! Когда Рыжий обвинял! И другие... Когда колошматил он меня... А уж когда я побил Рыжего, и вовсе... Не пойму тебя, Кирюшка, чего ты хошь от меня? Чтоб я кем был? Чтоб атаманом в разбойной ватаге быть, сам знаешь, это как с волками...

- Я... не хотел вмешиваться... Ты ж всегда злишься, когда я лезу! Но сейчас всё бросить – дать им думку думать, будто ты виноват в пропажах, снова обвинители полезут! Кто-то же их науськивает. А я... знал, что ты Рыжего побьешь... Но разумнее было его в живых оставить, чтоб попытать, кто научил его бунту ентому... – Кирюшка отвел глаза. Вот она правда, половина от правды.

- Разумнее? – Андрейка вдруг рассмеялся. - Да, там в круге, после схватки да с таким бойцом, как Рыжий, прямо шибко разумные решения приходят! Я предлагал ему жизнь – он отказался!

- Я не виню тебя, просто... теперь сложнее вывести...

Помолчали.

Высказал еще одно.

- Чего ж не пришел опосля? Никитка и тот пришел...

- Как бы я знал этот схрон! Я думаю, все твои убежища знаю?! Сам не показал! Никитке показал, мне ж... Пока его не засек да не спытал, все прочие обегал, искал тебя...

- Охотились мы как-то с ним, тута ночевали... Ты тогда не пошел... – пояснил Андрей примиряюще.

Молчанье повисло в землянке. Невысказанные слова, невысказанные из опасения вовсе рассорится, тогда, когда навроде мир. Худой мир, но мир. И ничего никуда не делось, ни скрытая обида, ни погашенный гнев, ни отчаянье последних дней.

Но решать все же надо, что делать. И Андрей кивнул:

- Ну, хоть в одном верно: если уйти сейчас, то подумают, что бегу, да еще с их добром - как расписаться, что Рыжий был прав...

- Значит, вернешься?

Кинул в ответ долгий взгляд, и в темноте не понять было, об чем этот взгляд, тихо ответил:

- Погляжу завтра... Ты это... плечо перевяжешь мне? Самому несподручно...

Рана не опасная, но все равно. Перевязал.

Уже темнело.

Кирюшка милостиво оставлен на ночь, чё через лес в ночь переть.

Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось: такая вот их история.

Спать на узких полатах едва уложились. Медовуха помогла забыться, но ночью разобрал кашель. После сон не шел. Думал.

Вот Кирюшка посасывает рядом. Сколько таких ночей провели подле друг дружки. Ссориться стали часто, не понимают более один другого братья названные, сомнения замучили, разногласия, расходятся пути-дорожки, но все ж пока мирятся... Все ж он снова пришел, хлопотал тут, под боком сопит.

Без него как? Не видел как. Не мог и представить. Хоть злись тут, хоть что.

Когда-то было по-другому меж ними.

Кирюшка, охальник этакий, как ты можешь так? Ведь я ж люблю тебя, мало кого люблю, все больше лютой ненавистью ненавижу, а тебя люблю...

Глава 4. Братя.

Встреча их была что луч солнца из хмурого неба.

Было так.

Пришлось Андреюке тикать из ставки Димитрия неожиданно и скоро для самого себя. Апрель уж в правах встал.

Поругался крепко с шляхтичем одним - наемником под командой гетмана Рожинского. Да исчо гусаром, из тех, у кого перья на раме. Шляхтичи и так гордые и важные, считают одно лишь дело благородным – воинское, а все прочее - пусть русские холопы пашут. А гусары ихние и того пуще нос задирают! Так вот, ентот прицепился к нему: то сапоги почисти, то коня обиходи, то стирай за ним. Нашел холопа! И все с подковыркой, с наглой рожей. Позовет: «Хей, цыганэ, идзь тутай!» Сто раз в ответ буркал, что не цыган он. Да и были в ставке цыгане, в ярких разноцветных тряпках, свои дела у них – с лошадьми. Он-то при чем? Но шляхтичу плевать. Видит, что хлопец злится, и того пуще задирает.

Раз резко ответил паскуднику, что не холоп он, другой - чтоб отвалил бы ты, панове. На третий панове в морду сапогом дал. И еще раз. И бросил с руганью: «Московиты кланяться должны нам, мы им царика привели!» А евойные дружки рядом стояли и смеялись, курвы проклятые!

Обида такая взыграла, что зубы скрипели - а ничего не сделаешь.

Три дня ходил как в воду опущенный.

За эти три дня к нему как бы невзначай подходили кой-какие люди и бросали слова: мол, гниды шляхетские, ведут себя тута как хозяева. Потом один десятник: «Ты, парень, напролом не лезь, тут хитростью надо. Уронил бы где ночью факел подле шатра ихнего - может, присмирили б...» А Степан прямо сказал: «Теперь тебе покою не будет, хлопец. На примете ты у них. Рожинские робята больно борзые, особливо счас, как прежнего главного сместили – Меховецкого. Тягаться с ними – себе дороже. Тикал бы ты отседова, Ондрейка! Целей будешь...»

Такие мысли у самого уже ходили. Думал найти тут волю, а стал холопом: поди-принеси-убери. А кормиться по ближним деревням, ни казаки, ни тем паче иноземцы с собою не брали. Да и не хотелось грабить тех, с кого и взять нечего.

Спал у дверей в общей избе. Тож – удовольствие...

К тому ж посмеивались над ним, что с монастыря пришел (хоть был там почти ничего!). И хоть давно уж показал, что способен к воинским наукам, а все будто кутёнок для них. Теперя еще этот, курва... Поляки тут тон всему задавали, царь токма с ними и советовался. Ну разве что еще атамана Заруцкого звал.

И вспомнил Андреюка Кондратия...

И на четвертую ночь случилось. Где-то загорелось, поднялась кутерьма. Ветер подхватил искры и погнал по сухой траве, и борзо так разгоралось. Сразу стало ясно, что сейчас все бросятся тушить, а не искать виноватого. «Ага, - сообразил, - без меня справились, а на меня свалят, коль царек разбираться начнет...» Ну, раз такие пироги...

Схватил котомку с припасами и вещами (была приготовлена), и под шумок тихонько запалил сарай, где у гусар перья ихние хранились - уж больно панове ими дорожили. дождался, как побегут тушить, стянул у главного недруга кошель с серебром, коня его отвязал, и - прощайте, пане, чтоб вам подавиться!

Дело, конечно, наказуемое. И погоню могли снарядить. И прибить, если б поймали. Гнал всю ночь. Да не к Москве - там скорее найдут. Решил сразу на Дон. С Москвой пусть сами разбираются, без него.

И истинная вольница тока тогда и началась, когда вовсе никого над ним не стало, как и мечталось.

Но у всего своя цена. У воли цена высока.

Два года бродяжничал, ни к кому не приставая более.

И чего только не было! И хорошего, и плохого.

Коня у него самого скоро увели, отняли лихие люди, хорошо, что сам спасся.

Не, поначалу кой-какую дружбу вел. Пытался. Вот Егорий запомнился. Он его воровству в городе научил. Его опосля поймали. Еще Митяйка Катькин сын (прозвище такое), с ним коней крали. Потом Митяйка сам его обокрал. С тех пор решил - лучше одному. Это на первом годе.

Зимой чуть не помер, с голоду, холоду. Пообтрепался, поиздержался. Ну, опять же письма переметные читал. Копейку хорошо, если дадут. Иногда мог подрядиться на какой-нибудь двор на краткую работу. Науку воровскую еще не освоил. Не, приворовывал тоже, а как иначе. По мелочи, конечно. Коль жить надо. Иногда его ловили, били, грозили сдать местному воеводе, грозили, что руки отрубят. Но кривая вывозила, всегда.

Все время было голодно. Но часто и весело. Он отчаянным был уже с отрочества. Вроде не боялся ничего. Ну боялся, ну что теперь – ничего не делать?

Раз, летом, второго года, в одном селе, где он на сенокос подвизался работать за похлебку, увидал проходящий табор цыган. А с ним мальчонку помладше себя года на два-три, белобрысого такого. А в придачу медвежонок на привязи. Мальчонка был поводчиком того зверя. И цыгане те мальчонка тыкали, чтоб шел с медвежоном деньгу с сельчан собирать. Медвежонок, видать, голодный, задиристый, мальчонка напуганный, тощий, тоже, видать, давно не жрамши - никого скоморошьего представления не получалось у них. Слезы, а не смех. И кто из них более на цепи – медвежонок или мальчонка? Ну, кидали с жалости полушки какие-то.

И что-то дернуло его тогда. Может, глаза мальчика ентого, грустные такие, отчаявшиеся, себя что ли вспомнил. Устроил Андрейка им всем представление – незаметно ткнул медведя палкой со всей дури! Медведь на задние лапы как встал, как взревел, да как с привязи сорвался, да как побег, а народ как закричал, особенно бабы, да побежал кто куды, а цыгане тут заволошились и ну давай мишку ловить, успокаивать! А Андрейка, недолго думая, одной рукой хват мальчонку за руку, другой - шапку с монетами, что тот насобирал, и ну бежать, что есть сил. Долго бежали, аж запыхались, пока не повалились в траву. Только отдышались, глянули друг на друга и давай хохотать! За животы держались - так смешно им было, легко так, радостно. Перебивая друг друга, пытались рассказать, кто что заметил. Кто глаза выпучил со страху. Кто пёрднул. У кого штаны спустились, как бежал. Насмеяться не могли. Потом мальчонка поворачивается и серьезно так, глядя серыми внимательными глазами, спрашивает:

- А ты кто такой вообще?

- Андрейкой кличут, - пожал плечами. - В казаки на Дон иду. А ты?

- Кирюшка я. Уже вот... никуда не иду...

- А чё с ентими, с цыганами делал?

- Да так, родители во прошлом годе померли... А эти... с собой прихватили... Никого, почитай, в деревне не осталось...

- Ну, чё, тогда может вместе пойдем? Вместе веселей!

Кирюшка. Это еще одно из самых хороших его воспоминаний. Его первый и единственный друг. А потом и названный брат, когда они побратались как-то августовской ночью, сидя в стоге сена и глядя на звезды, как раз Стожары горели, поклялись друг другу в преданности и братстве, даже кровь из надрезанных ладоней смешали, чтоб истинно...

С тех пор бродяжничали вместе. Вроде цель была - Дон, а так-то шли как придется.

И много доброго было. Летом в речках купались, ночевали в стогах или на сеновалах, ночами душевные беседы вели, душу друг дружке открывая. Неожиданно для самого себя

Андрейка многое что рассказал новому другу, никому такого не говорил, а ему рассказал. Самое больное - про мамку Настасью. Признался впервые, как поджег избу Кондратия. Про отца Тихона. Про Егория, Митьку-подлеца. Про девок тоже говорили, вместе бегали к бане подглядывать за ними. Вместе на работу подвязывались. Кирюшка похлопает своими честными глазами, их и возьмут: то пастушками, то на сенокос, то дрова колоть. Иногда за полушки, чаще за жратву.

Но Андрейка старший. И в ответе за обоих. Так он всегда думал. И одной такой работой не прокормишься. Одежду там теплую раздобыть и всякое другое обеспечение – это он на себя брал. Больше опыта, больше знаний. Больше хитрости, ловкости. И как еще им было выжить??

Всяко бывало. И плохое тоже.

Как-то в одном городишке его на базаре с поличным поймали. И уж вели к воеводе, а Кирюшка бряц перед ними на колени: «Люди добрые, христиане, отпустите братца! Он боле не будет! Сироты ты! Простите нас! Он меня ради старался! Отпустите! Коли нет, меня к воеводе ведите!».

Ну, и отпустили, пожалели.

Стыдно Андрейке тогда было. Но не от того, что своровал, а то, что попался.

Или вот как-то парни их в одном посаде побиили. Тоже стыдно было, что слабину дал. Хоть учился кулачному бою, но против толпы одному пришлось тяжело. Кирюшка, конечно, пытался помочь, но боец из него так себе.

Помнит вот, лежат они как-то на берегу речки, скупались, обсыхают.

- Скажи, - говорит, - Кирка, чего б ты хотел?

Глаза свои серые ясные в небо упрёт, ресницы как у девчонки длинные, вздохнет мечтательно:

- Я б медовой коврижки съел...

- Да я не об еде! Чтоб ты в жизни хотел?

- Эээ... – запнется. - Чтоб мамка с тяткой живы были...

Кинет Андрейка взгляд вострый, все в нем – и жалость, и осуждение: как малой, право!

- А еще? – допытывается.

Молчит.

- Не знаю. А ты?

Тоже в небо взглядом упрётся, обдумывая ответ. Там белые облака плывут, под ними ласточки-береговушки снуют: брюшки белые, лобик и горло красные, хвост раздвоенный, нырь в песчаные норки к птенцам, легко им, весело. Внизу речка блестит, на солнце играет, там в глубинах рыба, у каждой свое место, у кого повыше, у кого поглубже. Всякому живому место есть на земле. Каждой твари, большой и малой. Нет, он понимает тоску Кирюшки, тоску по дому, по родителям. Но сам чего хочет, сказать невмочь, слов сложно подобрать. Однако пробует:

- Я бы... хотел бы далеко-далеко уйтить. Чтоб воля полная. Чтоб никого надо мною. Хошь то делай, хошь это. Чтоб никто не указывал. Ни на кого не работать. Чтоб как птицы эти. От края до края. Может, и к морю пошел бы посмотреть... Интересно, что в мире деется... Только чтоб не задирали! А то всяк готов... – осекся. Добавил, смеясь: - Вот, коня еще хочу! У меня, знашь, какой конь был, у шляхтича увел! Быстрый, красивый! Жаль, охальники отобрали...

Друг на дружку глянут, улыбнутся.

Оттаяло у Андрейки сердце с Кирюшкой. Тот больно простодушен, чист, не обманет, не предаст. Не то что прочие. Кидается на помощь, ежели что. Отзывчивый. Добрый. Честный. С каждым днем привязываются друг к дружке все больше. Два разных вроде, а вместе хорошо, всю бы жизнь так.

И даже когда не понимали, не разделяли что-то друг в дружке, все ж старались, чтоб другому хорошо было.

Как-то случилось: на одном крестьянском дворе в июле-августе перебивались они за еду да кров, да за горсть копеек. К зиме одёжи справить было не на что, а денег всё не прибыло. В то время намерение Андрейки переменялось: в Москву идти. По слухам будто там хлеб дают и жалование тем, кто в ополчение встанет. Да и на столицу глянуть хотелось, авось пристроятся там получше.

Так вот. У хозяина того дочка на выданье была, Машкой кликали. Красовита, румяна, кареглаза, а шустря так, что ни минуты спокойно не посидит, и нрав легкий, веселый. Визго-пряха-непоседа! Вот Кирюшка и прикипел к ней сердцем. Четырнадцать годков ему было, а любовь ударила что обухом по темени. И вроде как и она к нему тянулась. И вот эти голубки тайком встречались, а Андрейка им помогал, хоть и твердил: «Шустрялая твоя не доведет до добра». Ну и не довела.

По осени Машку просватали. Кирюшка хозяину в ноги: «Так мол и так, Кузьма Васильич, любя мне Маша, отдайте за меня!» «Да за кого? За голодранца без кола и двора? Без штанов? Без роду-племени? Да кто ж ты таков наглец, коли о таком просишь?!»

В общем, серчал ужась просто. И прогнали их со двора, аж пятки сверкали. Даже с Машкой проститься не дали. Да и как бы она против отцовской воли пошла?

С той поры Кирюшку тоска замучила. Молчал, ничего не ел, лежал, будто вынули из него что, а обратно не вставили.

Помнится, Андрей тогда про себя подумал: «Чтоб я так из-за девки с ума сходил - да ни в жизнь! Больно нужно!» А вот, как говорят – не зарекайся...

Оставил он Кирюшку на постоялом дворе в посаде городишки Ливны. Ушел работу искать, или прибыль какую – как повезет. Любовь любовью, а жрать охота. И зима на носу. До Москвы еще ходу сколько. Все запасы на исходе. А этот все лежит, будто помирать собрался. Господи, да из чего? Из-за девки!

И все думал: как бы вернуть Кирке силы. А тут и впрямь повезло. На окраине посада в одном доме, сказывали добрые люди, вдовая жонка живет, Аннушкой звать, в хозяйстве помощь нужна. Ну и отправился туды.

Дверь отворяет такая ладная да пригожая, молодая еще, справная, и бойкая, сразу видно. Ну и впрямь работы у нее много было: и дров наколоть, и крышу починить, и забор поправить, в общем все больше плотницких работ. Два дня у нее горбатился, а она его щами и кашей кормила, в баню пустила, кое-какую мужнину одёжу отдала, муж вроде как в Москве пропал.

После бани в избу завела, за стол усадила, медовухи налила. Впервые пил. Его и повело. Все как в тумане, и тепло так, хорошо, блаженно, как в раю, наверное. Голова кругом, в груди жар. Сам не знает, что с ним!

А хозяйка вдруг раз и рубаху с себя скидывает! «Иди, - говорит, - касатик, пригожий мой ко мне... Ужели бабьей ласки еще не знавал? Да как же так? Такой красавец и не цалованный!»

В общем, все случилось в ту жаркую осеннюю ночь. Вот уж для него открытие было! Не знал, что так сладко с бабой бывает! Разомлел, и будто выдохнул после долгой тяжелой години... Страсть сбила его наотмашь, и он поддался ей, и не было в нём ни капли стыда, только наслаждение. Будто заново родился в том огне. Сгорал и не хотел спасаться, погружаясь в сию пучину все глубже и глубже.

Так провел у нее несколько ночей.

Одно только тревожило – Кирка. Метался меж избой Аннушки и постоялым двором, где Кирюшка в тоске валялся. И неловко ему было, что он так счастлив, а другу так худо. Тогда и задумал то дело.

Лежа после ласк у Аннушки в горнице в ее теплой постели, сказал ей: «Совет твой нужен... бабий... Друг у меня тут есть, побратим... Прикипел к крестьянской девке, ну а батька ее прогнал нас... голодранцы же... Теперь тоскует, не ест, не пьет, ничего не хочет, будто поми-рает... Не знаю, что делать! Може, ты с ним что сделаешь? Что скажешь?»

Она помолчала и говорит тихо, с грустью, кудри его перебирая: «Ты ж знаешь, каков ты, а? Нет ведь, не знаешь. И кожа у тебя гладкая, что девичья, и глаза как омуты темные, и брови вразлет, и губы сладкие, и вихры такие – рука путается, и сложен на зависть многим... Горяч... Молод, вчерась оперился, а уж поднялся, что колос в поле выше остальных... С такими знаешь, как бывает?.. То-то и оно, касатик мой, то-то и оно... Любить еще не любил... И может, не полюбишь – сердцем больно осерчал ты... А коли полюбишь - горе будет той, кого полюбишь, и уж особенно той, кто тебя полюбит!»

Не понял он тогда ничего, голову приподнял, аж краской залился от таких речей: чегой-то она?

А Аннушка усмехнулась и продолжает, уже по-другому: «Не знаешь, что просишь у меня. Ладно. Приводи своего дружка ко мне, попробую его исцелить...»

Грустно так сказала, но разве ж он тогда понимал?..

Ну, привел. Сказал ему, сам с работой не справляюсь, помощь твоя нужна – призвал к долгу, короче. Сам навроде как по другому делу ушел. Но томился во дворе. Прятался.

Ну, и Аннушка проделала с Кирюшкой тоже, что с ним. Банька, каша с маслом, медовуха.

А он стоял там на ветру и представлял их вдвоем, и так ему жарко становилось в чреслах, так распирало, что не выдержал и в избу пробрался. В сенях жался, дрожа, пока голос ее не услышал. «Чё, - говорит, - стоишь там, мёрзнешь? Ходь сюда! Не бойсь...» Зашел в горницу, а они там на полатах оба в чем мать родила. Ох, и жарко же ему стало! Чуть ноги не подкосились! А Аннушка пальчиком манит, иди, дескать, к нам...

Эх, и если бы его спросили, когда он был счастлив, то наверное, этот миг таковым бы и назвал! Был как пьяный, как в горячке, весь в любовной истоме, и ничего, что Кирюшка на него дикими глазами смотрел, и отворачивался, съезживаясь... То ли морок, то ли сон, то ли что... И сам не понимал. Не помнил даже, что вот дальше было.

Да только утром Кирюшка ни свет, ни заря поднялся и ушел с избы. И глядя сквозь полу-сон-полуявь на его опущенные плечи, слыша его тяжелое молчание, и не споймав его спрятанного взгляда, Андрей понял: не помог исцелиться брату, а только хуже сделал, куда хуже. И самому мутно сделалось.

И Аннушка такой же сумрачной с утра была.

То, что радостью мнил, обернулось виной и стыдом.

И все ж загнал внутрь себя.

А через седмицу братка заартачился, сказал в сердцах:

- Не могу больше! Выбирай! Или уходим, или я уйду, а ты остаешься!

Он ему начал было про Аннушку, что вот дескать, тепло, еда, перезимуем давай...

- Вот же ты, дубина стоеросова! – вскрикнул Кирка, осерчав как никогда ранее. - Тебя она любит, не видишь, что ли! Чурбан бесчувственный! Ради тебя всё! Мне там что делать?! Хочешь остаться – оставайся! А не хочешь, вместе пойдем, хоть куды – хоть в Москву, хоть на Дон, хоть к черту на рога!

Глупо было из такого земного рая уходить, на зиму глядя. Но Андрей согласился, скрепя сердце.

И они ушли. Аннушка на прощание плакала...

Воспоминание об ней и ее теплом доме греют его даже сейчас, по прошествии стольких лет, и уж после того, как сам он познал любовь в своем сердце.

Ту самую треклятую любовь, пропади она пропадом, о коей та предупреждала...

Глава 5. Аленка.

Три дня ватага гудела, что растревоженный улей. Вусмерть переругались разбойнички, за ножи не раз и не два хватались, и, если бы не окрик старших, точно бы кровушка пролилась. Решали да рядили: кому быть атаманом.

Поначалу чьих имен только не называли, некоторые сами вызывались атаманить. Но их быстро осадил: атаманом быть – это тебе не глотку на круге рвать, тут дело надо знать. Потом кричать стали: виноват ли Андрей, в чем его Рыжий обвинил. Ох, тут и страсти разгорелись!

Одни вопили:

- Виноват! Рыжего убил, раз тот против выступить посмел!

И тут же припомнили всё, кричали, перебивая друг дружку: «Да, шубу-то себе взял! Соболю! И долю Рыжего прибрал! И еще любовницу в стан притащил – а нам тут бабы не нужны!»

Другие перекрывали ор:

- Охолоньте! Андрей дело знает. Столько лет верховодит и удачно! Нападки ваши несправедливые! Вина не доказана! Рыжий по заслугам получил, сам и вызвался! Порядок был соблюден!

Третьи бубнили свое:

- Ну как, он же сам не хочет ноне верховодить! Придет, всех прибьет. Пусть уходит лучше. Выберем нового.

Предлагали Федора Никитича, есаула. Дескать, степенный мужик, хозяйство наладил, порядок знает, опытный, ушлый, страстями не обуздан, на рожон не лезет, к народу расположен, воинское дело знакомо. Тот скромно отмалчивался, в глазах лишь что-то мелькало, довольное. И когда Пронька Семенов крикнул: «Берись, Федор Никитич, давай, верховодь!», он лишь чуть покачал головой – не отказываясь, но и не соглашаясь. Однако рассудительно добавил, что мол ежели Андрею и остаться, то с условием: осадить надобно, а то зарвался по молодости, надо бы атаманову долю уменьшить. Ну, дескать, как ватага решит, так тому и быть. Сидит, бороду оглаживает, глаза скосит, чисто важный боярин на суде.

Предлагали Надыму тож. Он у Болотникова в войске стоял, сам с Северской земли до Коломенского с ним дошел, после до Тулы, едва утек после разгрома. Но Надым отказался.

- Не мое дело, хлопотное больно, я уж того накушался...

Предлагали Илейке Косолапому. У него нос крючком, скособочен в драке, и ногу подволакивает. Илейка не отличался особыми умениями, кричать лишь горазд, драчлив и скороспел в решениях. Не, сразу отвергли.

В общем, куда не кинь, везде клин – не договориться!

Тут Никитка Кожедуб сказал:

- Винится пред атаманом нужно. Просить остаться. Иначе передеремся тут. Лучше его вожака нету!

И снова споры пошли.

Пришел на круг и дружок атаманов, Кирка. Сказал, как отрезал:

- Неблагодарные межеумки вы! Разве ж вы не видите, сколь он для ватаги делает?! В чем обвинили, кому поверили, чем попрекнули?! Прав он, что ругался, баранами вас назвал. Коль уйдет, отговаривать не стану, и сам с ним уйду! А не то, глаза разуйте! У кого ваши схроны. А коли вернется, то ждите кары, он вам не простит предательства такого!

Тут снова зашумели. Об этом не подумали. Лют атаман, и впрямь не простит за просто так. Характерец, прямо скажем, у атамана паршивый, с годами токмо хуже стал. Прямо скажем, поганого характеру человек: упрямый, жестокий, гневливый, да чего уж – бешеный прям, всех перешибет своею волей, а то вдруг надломится, сам тонет – всех топит! То собачится, то угрюмится! То веселится, то чуть не в петлю лезет! То коняку пожалеет, старую кобылу, то человека за малую провинность порубит! Что поделаешь – испепеленный человек. Вроде молод, а будто полвека прожил, и все терзался... Такой точно не простит.

Затихли, задумались. Никитка говорит:

- Ежели выдадим, кто с Рыжим был заодно, минует нас гнев атаманов! Не зверь же он. Человек, может, и жестокий, но справедливый.

Он не всем это сказал, а некоторым, кто изначально стоял на стороне атамана. И согласились с ним эти несколько.

Споры утихли только к ночи. А назавтра снова закипели, только уже тише. Шептаться стали: где он, да что он. К вечеру и вовсе замолчали, прислушиваясь к тишине, которой раньше не замечали.

Никитка куда-то уходил. Вернувшись, сказал: мол, виделся с атаманом, велел вам передать - позже придет. А что такое с атаманом – не говорит. Ватажники усомнились: может, уже сбежал, да с добром нашим?!

Снова здорова.

Еще и дружок его исчез, днем ушел, к ночи не вернулся. Точно убёгли!

- Так баба ж тут евойная! Куда ж он без зазнобы своей!

- Да, может, она ему и вовсе больше не нужна, намаялся с ней, и рад избавиться!

Ловит ослухи этих разговоров жонка атаманова невенчанная, Аленка, и страшно ей становится.

За себя страшно. И за него тож отчегой-то страшно...

Два года Аленка в лагере, два долгих страшных года. То ли жена, то ли полюбовница. Силком увез с родной деревни, засадил в эти болота средь татей и воров. И сам первостатейный тать, убивец проклятый!

Может, вот оно - время бежать, раз тут против него повернулось. Помощи бы у кого спросить, совета. Тайных троп она не знает: как выйти, через болото, через лес. Жизнь ее погублена, но хоть пойдет в монастырь душу спасать. Но как, как сбежать? Кого спрашивать? А ежели кто и поможет вдруг – а ну-ка ентот споймает! Такой погубит всех - он может!

Так думает Аленка, мучительно вглядываясь в лица разбойничков-находальников.

Кто же, кто поможет?! Кто так смел, чтоб против вожака пойти?! Страшно спросить. Федора Никитича, может?

Не может решиться.

И старая бабка бдит! Марфута. Она тут поболее, три года уже. Сама пришла. Сказывала, нашел ее на дороге. Убивалась, единственного сына потеряв в Смуте, казнили сына-то, и себя потеряла она от горя, нищенствовала, пропадала вовсе, свет белый не мил был, тоска-кручина сердце выела. А он сюда привел. Живи, сказал, мать, тут тебе сынов много, и я тебе сыном буду, коли примешь такого. Она и осталась, и приняла. Жалеет ирода ентово. Хлопочет за ним. Будто и впрямь мать ему.

А ей свекровка. Свекровь на печи, что собака на цепи. Вот и следит, бдит. Сказала намеренно: «Ты, девка, не шали. Ты теперь жена ему. Андрей вернется. И чтоб не решил, тебе с ним быть. Такая доля твоя. Прими и смирись. Что тут смуту против него устроили – он решит, не сомневайся!»

Вот ведь старая карга! Сама толкнула ее к ироду, не пожалела молодости ее... Да какая она ему жена?! Не венчана – не жена!

Узнала об нем осенью, в сентябре, на Иоанна Предтечу. В посад тогда выезжала к родственнице, в Севск. Та обещала помочь наряд свадебный собрать, лент подкинуть, бус бисерных, и тесьмы атласной на душегрею. Просватали за Мишаню, на Покров должна была замуж выйти. Мишаня не складный, ладони что лопаты, глаза голубые навывкате, белобрысый что моль и ржет все время, слова путного не скажет! Но что поделать, она – бесприданница, а вот глянулась ему, вот и заслал сватов, а тетка и рада с рук сплавить засидевшуюся невесту.

Аленке уж пятнадцатый год. И впрямь, засиделась. И не безродная вроде, да померла ближняя родня в голод. Одна тетка осталась. Да не родная, так – седьмая вода на киселе – и дня не проходило, чтоб куском хлеба не попрекнула. Уж Алена и так и этак, рада б угодить, а эта все недовольна. Вся работа на ней, и дом, и хлев, и поле. Не хуже других, а головы не поднять. Так что замуж – оно верно к лучшему. Вот только Мишка не люб ей...

Эх, до любви ли?..

Тут или в омут с головой, или замуж. И так и этак худо.

Но Мишаня вроде не обидит. Правда, младший сын, в избе ихней еще две семьи старших, один только у них отделился. И большуха мать жива. И батюшка крутенок.

Но что поделать, такая девичья доля.

Так вот, в посаде заночевала. Там-то и увидела татя ентого окаянного. Проснулись с родственницей ночью от криков, собачьего лая, шума несусветного. Батюшки святы, пожар что ли? Хуже пожара! Налет татей на соседскую избу, купца местного.

Спрятались на сеновале с родственниками, подглядывали в щелочку.

Видала, как рассыпались находальники по двору, как мужиков побили, товар по-хозяйски сгребли, и метались кони, люди, скот и птица. Бабы орали, а дочку хозяйскую один бородатый за косы схватил, но вожак, чернявый из себя, крикнул ему отпустить девку, и бородатый с удивлением глянул на него, но отпустил.

Ох, и колотилось же ее сердечко! Страшенно... и люди страшенные, жестокие, и дела их злые, управы на них нет, божьего гнева не боятся!

И ентот! Вожак! Ведь узнала! Тот это, кто через их деревеньку проезжал давеча, он исчо воды у нее испить просил, и монету медную бросил тетке. Узнала, как есть он! Тады сказал, что купец. И никакой не купец он, а так – вор, тать, разбойник! А ведь как он на нее тады смотрел, очей не спускал! А глаза черные, взгляд вострый, без ножа режет, даром, что молодой, безбородый даже. А ведь тады она что-то почуяла в нем, хоть и одет был богато, и конь дюже справен – и как он гордо и ловко восседал на нем, не то, что ухажер ее, Мишаня, увалень несчастный....

И вишь как.... ентот.. чернявый... разбойником оказался! Почуяла сразу, значит. Что ж – сердце вешее у нее!

Слава Богу, Богородице и всем заступникам небесным, что не обыскивали все постройки, а так – по-быстрому обчистили купца, в телегу побросали награбленное и умчали в ночь.

Дома в церкви пошла свечку поставила Спасу Нерукотворному и Пресвятой Богородице – спасибо, что уберегли, что миновала беда.

Ан нет, не миновала.

Седмица минула, как новая встреча.

Рано радовалась. Нечистый дернул по воду идти к речке да вечером! Уж и тени легли и прохлада пала. Это все тетка-злыдня! Иди, мол, чё без дела сидишь, вода вся кончилась. Сама воду на себя извела, а ей кольнула.

Как раз нарядилась с подружками на гульбище – сколько гулять-то осталось невестою-славницей?! Пришлось подхватить коромысло.

Только воды в ведра зачерпнула, а тут ентот...

Стоит, конный, и смотрит на нее так...

Ох, жарко прям стало, хоть холодом с реки тянуло.

- Доброго вечора, девица-красавица! - сказал ласково. – Не поздно ли по воду пришла?

Хоть и испугалась, но буркнула:

- Тебя не спросилась, барин! - и дернул же нечистый дерзить. Тетка зря что ли всю жизнь обещала подкоротить язычок!

Но он усмехнулся, ближе подъехал. Снова спрашивает:

- Что ж не на гульбище? Али жениха нету? Миловаться не с кем?

Вот ведь привязался.

Вскинула голову, глазами стрельнула, не видит, что ли, в каком уборе ныне?!

- У меня, мил человек, женихов, что листьев на березе! - важно ответила, поджимая губы: может, отвяжется тепереча?

А он смеяться.

- Что ж, - говорит, - поедем посчитаем, сколько листьев на березе в эту пору!

И как подхватит ее и на коня. Она прямо сама не своя сделалась. А руки такие его... сильные... И помчал куда-то, что бешеный!

Ну, все, подумала, прощайте, родненькие - подруженьки, березоньки, деревенька, приютившая ее, сиротку, и не поминайте лихом - кажись боле не свидимся! И горько сделалось ей, что жизнь её, будто скошенный цветок на лугу, пропадет ни за что ни про что...

Мчали через поле и пролесок, аж ветер в ушах свистел. Потом на горке встали. Смотрят.

Солнце румяным пирожком за лес катится, долина под пригорком туманом застилается. Посеребрённые травы в сумерках полегли, склонив головки и метелки, не шелестят, застыли. А тени из лесу выползают все длиннее и чернее. И тишина стоит: ни птички, ни зверя не слышно, лист какой скользнет, и то - шорох. Лесовки и те, небось, заснули, спрятались под кусточками. А лес еще держится в своем убранстве золотом царском, белеет стволами березок, малиновое солнце роняет на них свет мягкий, ласковый, а они стоят свечечками, тают.

Заворожилась красотой этакой. Сидит на лошади, не шелохнется, даже бояться перестала.

И ентот сидит, тож не шевелится, только крепко к себе прижимает.

И гулко сердечко у нее бьется.

Луч последний погас - дернулась, вернулась к страху: ну-ка - с кем она! и от дома как далече!

И ентот ожил, крепче к себе прижал, целоваться полез, слова ласковые шептать... Поцелуй его горячие, руки крепкие, глаза окающие...

И пьян. Тут только и поняла, что хмельной он. Может, это помогло.

- Что, - спрашивает хрипло, - замуж пойдешь за меня?

И еще крепче обнимать, отчего и вовсе сердце заходится, словно спойманная птица.

Дернулась от него, сердито ответила, уворачиваясь:

- Ишь чего захотел! Не бывать тому! Пусти, охальник!

- А чего так, красавица? Аль не люб?

Не ответила. Покачал головой, за руку взял, в глаза заглянул. Смотрит что жжет. И если б не знала, кто он...

Очнулась, снова толкнула, шустро с коня спрыгнула и прочь побежала. Он за ней, спешившись. Идет смеется:

- Куда ж ты от меня, красавица, денешься? В моем лесу куда побежишь? Не бойсь, не трону... Зла тебе не сделаю! Полюбовно хочу...

Догнал. Упала, споткнувшись об корягу в темноте, потому и догнал. А как догнал, снова полез с поцелуями. Обнимает, шепчет:

- Жди сватов, девка! И только попробуй меня не дождаться!

- Так уж просватана! Не лезь ко мне, пусти, охальник! Домой пойду! - отбивается.

- Как же просватана? - отшатывается, в глазах что-то мелькает, будто растерянность. И хватку ослабевает.

- Пусти! Домой пойду! Тетка заругает! - дергается она снова.

- Что ж, - шепчет, опять к себе тянет, руками шарит, - пешком что ли пойдешь? Далече... Не трону, сказал же, не бойсь...

Сердечко бьется. Ну-ка, привязался! Что делать - не знает!

Тут повезло - под руку камень попался, ну и приложила по башке его непутевой тем камнем.

А после бежала. А как бежала, как дорогу нашла – ох, не помнит. Бежала – не плакала, а добежала до деревни – разрыдалась. Ничего тетке толком не сказала, только что лихой человек силой чуть не увез. Тетка руками всплескивать, охать и ахать, и ее же попрекать, что дескать вырядилась, вот и приметили тебя, гулёну! Смотри, Мишке не сказывай!

Что же, до Покрова десять дён оставалось, там уж мужнина жена. Никуда более дальше околицы не пойду - решила про себя!

Да только все пошло не так. Мишка, жених, куда-то пропал. Ушел в лес силки проверить, и пропал. Намечалась свадьба, а тепереча чуть не похороны! Вся деревня ходила искать Мишку – а как сгинул! Решили – леший забрал. Одна Алена догадывалась, в чем тут дело. А как сказать, и что делать-то?.. Уж сколько слез пролито об горькой судьбе-судьбинушке, а чужая, самое страшное еще впереди...

Девки одногодки все замуж повыскакивали, она одна – невеста без жениха. Позор какой, люди косились. Тетка плевалась, и так поедом ела, тут вообще распустилась.

Зима настала. К Иванову дню гости в ночи, двое. Ентот, что приставал, и еще один. Ввалились в избу, собаку во дворе пхнули, чтоб лаем деревню не подняла. Ентот уселся под образа. Разодетый, что боярин. Тетка даже кудахтать забыла как.

- Купцы к тебе заехали, тетка! – сказал важно. – У тебя товар, что нам надобен.

- Какой такой товар? – не поняла.

- Да вот она, - ткнул в Аленку пальцем. – Красовита, и в возраст вошла, и по нраву мне. Возьму за себя в жены. И приданного не надо. Приплачу сам за нее! - и ну как высыпал на стол серебряных монет.

А второй, что молчал, молодой тож, русский, достал с мешка жемчуга полную чашу, да связку шкурок разных, да отрез ткани атласной. Все молча. От такого богатства у тетки глаза разбежались.

Тут Аленка поняла – беда! Кинулась тетке в ноги:

- Тетушка, - закричала, - не отдавайте меня! То тати, лихие люди! Погубит меня найдальник! Он и Мишку сгубил!

Нахмурился:

- Не говори, девка, об чем не знаешь.

Тетка глаза переводит со стола на нее, с нее на него.

Видя сомнения ее, усмехнулся:

- Не благословишь, я так ее заберу. Хотел по-хорошему.

Тетка к ней:

- Такая доля твоя, Аленка. Куды тебе деваться? Мишка пропал, возраст соромный, в бобылках останешься что ли?

- Тетенька, - заплакала, - отдай в монастырь, коли так! Как за татя пойду?! Что ж ты делаешь! Сердца у тебя нет!

Встал, осерчав.

- Ну-ка, кончай слезы лить! Не на плаху веду. Замуж беру. В шелках, жемчугах будешь ходить, как боярышня! Не обижу, сказал же! - и кивнул тетке, чтоб подсутилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.